

Владимир ХАНЖИН

ДО  
ПОСЛЕДНЕЙ  
СТРОКИ

ВЛАДИМИР  
ХАНЖИН

До последней  
строки







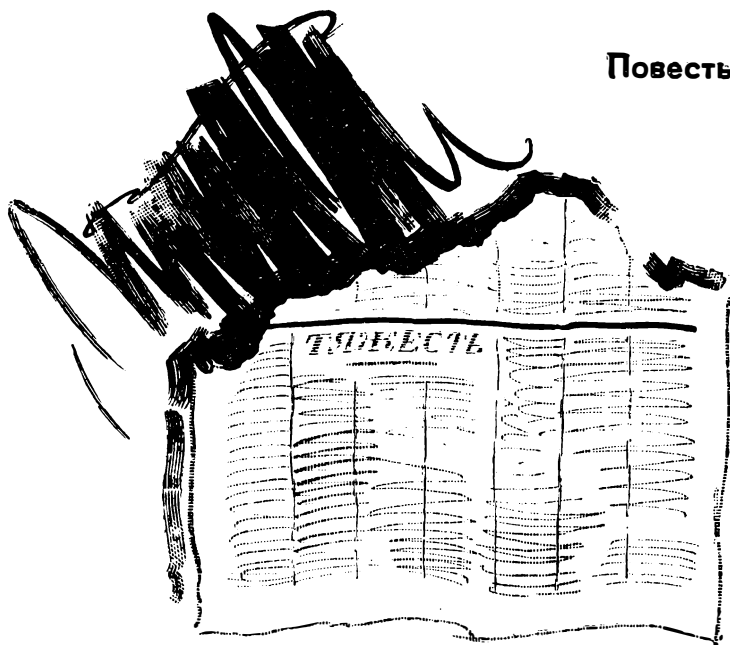




ВЛАДИМИР  
ХАНЖИН

# До последней строки

Повесть



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1966 • МОСКВА

Это повесть о цельном и сильном характере, о большом человеческом мужестве, о торжестве человеческой воли.

Алексей Рябинин, спецкорреспондент областной газеты, знает, что неизлечимо болен, но в служении высокому общественному долгу черпает силы для каждодневной борьбы со своим недугом. Для Рябинина характерна страстная непримиримость к злу и несправедливости. И люди идут к нему, едут издалека, из глубинки, потому что верят — он постоит за правду, поможет.

Героев книги — журналистов, железнодорожников, партийных работников — волнуют проблемы нравственного долга перед обществом, перед совестью, вопросы осмысления пути, пройденного нашей страной.

Два полюса определяются по мере развития действия: душевная щедрость одних и себялюбие, индивидуализм других. Конфликт нравственный и производственный тесно переплетается с судьбами героев, с их исканиями.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

---

I Хотя моросил холодный дождь, Рябинин шел в редакцию пешком. Ему хотелось полнее насладиться ощущением твердости и силы в руках, в плечах, в ногах — той твердости и силы, которая ежесекундно настойчиво и желанно напоминала ему, что он снова победил, что болезнь снова отступила.

Сегодня ему исполнилось сорок три. Сама по себе такая дата — не бог весть какой праздник: лучше бы двадцать три или тридцать три. Но, черт возьми, он снова в строю — вот что важнее всего.

Рябинин шел мимо магазина, в котором, наверное,



было то, что он задумал купить. Магазин еще не открыли: рано; на двери висел большой замок. Неторопливо ступая по лужам глубокими, скрывающими ботинки калошами — их иногда зовут «прощай, молодость», — Рябинин всматривался в синеватые мокрые стекла магазина, словно надеялся определить, есть ли там, за окнами, на невидимом прилавке, то, что ему хотелось купить.

Денежные дела его после нескольких месяцев лечения были далеко не блестящи, и все-таки он решил, что имеет право на эту радость, на этот подарок к своему дню рождения.

От магазина до редакции всего два квартала. В середине дня нужно выкроить время на покупку.

В редакции еще мало кто знает, что он выписался из больницы. День уйдет на встречи, расспросы, разговоры. Первый день!.. Рябинин улыбнулся. Он вообще часто улыбался сегодня.

Потом ему вспомнилась вчерашняя встреча. Рябинин выписался из больницы утром, а под вечер ненадолго вышел из дому на набережную. Было холодно. Он стоял у парапета и прислушивался, как беспокойно, беспрестанно плещется свинцовая вода о покатую гранитную стену. Почувствовал, кто-то остановился рядом и смотрит на него. Рябинин обернулся и тотчас же услышал:

— Вы?! Это вы?!

— Простите...

— Не узнаете? Я участвовал в консилиуме... Так это все-таки вы?!

Рябинин рассмеялся:

— Коли на то пошло, разрешаю пощупать.

— Ну, знаете, я слов не нахожу!..

Пожалуй, он был слишком непосредственным человеком: врач должен уметь скрывать свои чувства.

А вообще пусть удивляется. И пусть рассказывает своим знакомым. Рябинин мог позволить себе немножко гордиться собой. И сейчас он немножко гордился и праздновал.

Нелюдимо наше море,  
День и ночь шумит оно. . .

Он любил эту песню. Мелодия отвечала его походке, медлительной, но торжественной и необыкновенно твердой сегодня.

Смело, братья, туча грядет,  
Закипит громада вод,  
Выше вал сердитый встанет. . .

Но какое совпадение: именно сегодня ему стукнуло сорок три.

И он идет в редакцию. Еще два квартала, и он будет у себя.

Он отсутствовал четыре месяца с лишним. И хотя сейчас Рябинин знал все редакционные новости: знал, что Кирилла Лесько, ответственного секретаря, хотя бы забрать из редакции и назначить ректором университета; что вскоре после того, как он, Рябинин, оказался в больнице, на должность заместителя редактора пришел Волков, работник обкома партии; что Леон Атоян, литературный редактор, он же добровольный заведующий отделом фельетона, воспылил восторженными чувствами к новому спецкору газеты Орсанову, — хотя Рябинин знал эти и другие новости, хотя понимал, что его не ждут никакие открытия, ибо ему был известен каждый редак-

ционный закоулок, он шел в редакцию едва ли не с теми же чувствами, с какими шагает в школу наряженный во все новенькое первоклассник.

Редакция находилась на прямой, как стрела, улице, спускающейся к реке. Улица эта когда-то была лучшей в городе: сплошь из двух-трехэтажных каменных домов. И называлась она тогда Губернской. Другие с тех пор изменились так, что и не узнать: не жалко было ломать деревянное старье; но эта сохранила свой прежний вид.

Перед дверью в редакцию — каменное крылечко, даже не крылечко, а скорее приступочек, изрядно сточившийся от времени.

В вестибюле тихо. Гардероб на замке: рано. На верхних этажах уборщицы подметали в комнатах, с грохотом переставляя стулья.

Рябинин был уже на лестнице, когда входную дверь словно рвануло ветром. Костя Неживой, фотокорреспондент, он же заведующий художественным отделом, толстяк и хлопотун Костя, коlobком покатился от двери к лестнице.

— О-о, Алексей! Здорово!

Взбежал по лестнице — что ни шаг, две-три ступеньки, — принялся трясти руку Рябинина:

— Ну, вижу, что порядок. Рад. Дьявольски рад!

— Спасибо, Костя!

— Я к тебе после забегу. Расскажешь. А сейчас — вот так! Задыхаюсь! Дьявольская горячка, такой еще не было.

Рябинин улыбнулся ему вслед: как всегда, Костя здесь раньше всех, как всегда, у него «дьявольская горячка, такой еще не было», и, конечно, как всегда, он уйдет отсюда поздно вечером, если не ночью. И, как

всегда, от него исходил запах мятных конфет. Маскировка эта, впрочем, уже давно утратила смысл: всяк в редакции знал, что ни в обед, ни в завтрак Костя не обходится без рюмки-другой. Но тут уж ничего нельзя было поделаться: редакторы сменялись, а Костя оставался неизменен, со своей слабостью, своей суматошливостью и своим великим усердием.

— Как дочка? — крикнул Неживой, задерживаясь на мгновение на втором лестничном марше. — Небось уже в седьмом классе?

— В университет экзамен держит. — Рябинин сообщил это с неожиданной для себя гордостью и тотчас же спохватился: чего вдруг ляпнул?!

— Но-о! — Костя всплеснул руками. — Что ты скажешь! Как времечко-то, а! Что ты скажешь!

Помчался дальше.

Недовольство собой теперь уступило место другому, более острому чувству — тревоге и горечи... «А височки-то у тебя, Костя, уже сивые», — произнес Рябинин мысленно. Но он хорошо сознавал, что и тревога и горечь его вызваны не мыслью о быстротечности времени, а упоминанием о дочери. «Сивые височки-то», — повторил Рябинин, отгоняя от себя думы, которых он не хотел сейчас.

Поднявшись на третий этаж, пошел по узенькому коридору. Потертая ковровая дорожка, низенькие подоконники небольших окон, плафоны на чистых белых стенах... Все это выглядело теперь как-то иначе, чем прежде, — особенно значительно и по-домашнему уютно.

Толкнув дверь своей комнаты, в волнении задержался на пороге.

Стол стоял у окна, боком к нему. На столе — надстройка, что-то вроде второго укороченного столика с покатой, как у старинных конторок, верхней доской.

Дома на его столе была точно такая же надстройка. Вот уже несколько лет Рябинин работал только стоя. Оставаться на ногах — значит не давать расслабляться телу, меньше пребывать в неподвижности, свободнее, активнее дышать. А управлять дыханием — управлять жизнью в теле. Движение, дыхание и кровь неразделимы. На этот счет у Рябинина была стройная и строгая система убеждений.

И еще: он видел, что становится сутулым до горбастости. Нет, он не мог позволить себе сгибаться дальше, подчиняться болезни, а работая сидя, невольно клониться к столу.

С нарочитой медлительностью сняв пальто и кепку, вынув ноги из глубоких калош, Рябинин пригладил ладонью жидкие светло-русые волосы и торжественно подошел к столу. Ухватил с обеих сторон покатую столешницу, произнес мысленно: «Поздравляю вас, Ксей Ксаныч, с возвращением к станку».

II

Фраза эта была почти ритуальной. И сейчас он произнес ее с особой торжественностью, словно бросая вызов силам, которые препятствовали его возвращению.

Кажется, нынче он более чем когда-либо приблизился к последней черте. Во всяком случае, был такой момент, было такое утро — он едва не отступил. Потом, вспоминая об этом, Рябинин не думал о дочери,

о степени ее виновности: он спрашивал только с себя.

Рассвет — самое жестокое время: это с ним случилось на рассвете.

Накануне вечером у него сидела Екатерина Ивановна. Как обычно, она пришла с объемистой своей сумкой, в которой умещались и гостинцы для больного и вся ее учительская лаборатория: тетради с планами уроков, конспекты, учебники. Частенько она готовилась к урокам там же, в больнице, возле койки мужа; случалось, что подключала к своим занятиям и его — не столько на пользу себе, сколько на пользу ему.

На этот раз она не вынула свои тетради; она вообще забыла, что они существуют, и почти все время молчала, боясь утомить мужа.

О дочери Рябинин не спросил. Да матери и нечего было бы добавять к тому, что он знал. Впрочем, если бы ей и было что добавять, в этот вечер она не сказала бы.

Все-таки он не позволил ей остаться дежурить на ночь, поторопил уйти. Так Рябинин поступал всегда, когда болезнь обострялась. Находи опору в самом себе — правило, которому он неизменно следовал, хотя, в сущности, не вполне сознавал это.

Оставшись один, Рябинин приказал себе взять с тумбочки книгу. Он знал, что ему будет тяжело держать ее, что будет трудно вчитаться, но верил, что справится, что сможет заставить себя справиться. На этот раз он ошибся. «Ну что ж, коли на то пошло, отдохнем немного!» Опустив книгу на грудь, а потом столкнув ее, потому что она давила, словно чугунная, Рябинин закрыл глаза. И вот тогда усталые думы его обратились к дочери. Отыскав вдруг в нем какие-то не исчерпанные еще силы, эти думы все полнее овладевали им. Начав с пассивных и

отрывочных воспоминаний, Рябинин вступил в мысленный разговор с дочерью. Он то упрекал Нину с тоской и болью, то в гневе набрасывался на нее с обвинениями, которые не успел высказать раньше, дома, и обвинениями, которыеnapросились только сейчас. Потом он подумал обо всем том, что могло повлиять на Нину: он уже очень устал к тому моменту, и ему уже не вспоминались какие-то определенные лица и события; все могущее повлиять на Нину представлялось пятном, в котором копошилось что-то многоликое, серое... Потом из пятна выделилось вдруг лицо Манцева; оно делалось все больше и яснее, и тогда мысли и чувства Рябинина обрели новую остроту и силу. Он задрожал в ярости, даже приподнялся с подушки... Да, да, эта нашумевшая, отвратительная история, связанная с бывшим председателем горисполкома Манцевым, она прежде всего повлияла на Нину. Прежде всего, наверное, она... Потом у Рябинина вспыхнула какая-то чрезвычайно важная мысль; мысль ускользала, но важность ее Рябинин мучительно чувствовал, как мучительно чувствовал необходимость высказать ее Нине. Он так жгуче захотел высказать свою мысль, что увидел вдруг возле себя Нину; увидел ее удивительное лицо, как всегда бледное, красивое этой необычной, неболезненной бледностью, освещенное густым, глубоким, сияющим светом темных глаз: увидел ее так неожиданно и чудесно, так законченно и четко вычертившуюся за последний год девическую фигуру... Он заторопился вспомнить свою мысль, но ему не удалось это. Видение дочери исчезло. Вместо него вокруг койки заходил вдруг какой-то странный продолговатый предмет, делавшийся то большим, то маленьким, и Рябинин подумал, что, наверное, это и ходит его мысль...



Очнувшись, он увидел возле своей койки дежурного врача, сестру и своего соседа по палате. Потом он снова впал в беспамятство.

Минула ночь, мятая, рваная, спутавшая явь и бред. А на рассвете и наступило оно, то состояние поразительно ясного сознания, но абсолютного физического бессилия и полной духовной пассивности. Тело было словно пустое; в нем не нашлось бы точки опоры даже для того, чтобы заставить пошевелинуться палец.

И прежде, когда Рябинин оказывался в больнице, случалось, что недуг пожирал его силы. Предметы, весомость которых раньше не замечалась, словно наливались тяжестью. Даже термометр заявлял о своем весе. И все-таки Рябинин заставлял себя брать предметы, заставлял себя делать движения. Он разжигал в себе желания просто двигать руками, говорить, читать, слушать. Пока у человека есть желания, он живет.

В то утро не только не было сил шевельнуть пальцем — не было желания шевельнуть им. Не было никаких желаний. Не было желания желать.

Он лежал, закрыв глаза, видя перед собой зыбкую, рябую темноту, ощущая, как плывет куда-то и медленно качается то, что называлось его телом. Наступит мгновение, когда качнет особенно сильно, и все, все может оборваться. . .

Как и когда начался перелом, Рябинин не запомнил в точности.

Был день, яркий, весенний; каждый предмет в палате, казалось, излучал свет.

Рябинин позвал:

— Катя!

Жена наклонилась к нему. Он добавил:

— Неужели... она...

Екатерина Ивановна поняла его:

— Что ты, что ты! Как раз жду ее с минуты на минуту.

— Хорошо.

Он стал ждать дочь. Чтобы не забыть, медленно считал. До десяти или двадцати. Потом начинал снова.

Нина остановилась у его ног, схватившись за спинку кровати.

Он не винил Нину за то, что она не пришла раньше. Болезнь не однажды сваливала его, но он всегда побеждал, поднимался, снова оказывался в строю. Нина привыкла к этому. Возможно, она и сейчас не представляла себе, насколько серьезно положение.

Он улыбнулся дочери. У нее запрыгал подбородок, но она крепче сомкнула рот, а потом ответно улыбнулась отцу. Довольный, он закрыл глаза, чтобы отдохнуть от своего волнения и от слишком обильного света, наполнявшего палату.

В этот момент ему и вспомнилась вдруг мысль, которая ускользала от него тогда, вечером или ночью: да, да, Манцев хуже, чем грабитель, страшнее, чем убийца... Почему хуже, почему страшнее? Потому, что степень его виновности определяется не статьей уголовного кодекса. Виновность Манцева надо умножить на число людей, которые в него верили. Да можно ли вообще измерить, подсчитать урон, нанесенный им?

И оттого ли, что Рябинин смог вспомнить эту мысль, оттого ли, что у него вспыхнуло желание сказать дочери об этой мысли и еще о многом другом, не высказанном прежде, — о жизни, о людях, о себе, — сказать не сейчас, когда столь ничтожен запас сил, а потом, еще ли

отчего-то, но он поверил вдруг, что выберется, победит и на этот раз.

На другой день был консилиум. Склоняясь над Рябиным, врачи осматривали и выслушивали его. Один из них несколько раз проделал маленький эксперимент, смысл которого Рябинин хорошо знал. Врач надавливал пальцем руку больного и наблюдал потом, как медленно затягивается образовавшаяся от этого нажатия ямка в податливом, утратившем упругость теле. И тогда неожиданно для самого себя Рябинин проделал такой же эксперимент сам и просипел:

— Ничего. Коли на то пошло, бывало и хуже.

Слова его были ложью: никогда еще болезни не удавалось столь истребительно поработать над ним; но за словами стояла правда — правда его веры в выздоровление.

Врачи согласно закивали в ответ, но он-то видел, какие это были торопливые и рассеянные кивки.

Потом, когда врачи ушли и Екатерина Ивановна, держась неестественно прямо и пытаясь улыбнуться, опустилась возле койки на стул, Рябинин сказал:

— Вот такая ты бываешь, когда тебя фотографируют.

Вся содрогнувшись, она зажмурилась, будто спасаясь от чего-то слепящего.

— Ничего, ничего... — прошептал он, глядя, как она вытирает возле глаз кончиками пальцев.

После паузы она все-таки нашла в себе силы отшутиться:

— Видно, я никогда не научусь не робеть перед фотоаппаратом. Даже ваш Костя не смог сделать ни одного приличного снимка.

— Хотя и очень старался.

— Знаю.  
— Он не зря старался, у фоторепортеров хороший вкус. Я могу гордиться.  
— Не говори много, тебе не следует.  
— А все-таки жаль.  
— Что жаль? Что у меня нет хорошего снимка?  
Он кивнул.  
— Не страшно, родной: я не артистка, я всего-навсего учительница.

Через несколько дней он уже смог принять товарищей. Пришли Лесько и Атоян.

Как всегда озабоченно-хмурый, Кирилл Лесько положил на тумбочку несколько нераспечатанных писем. Пробурчал:

— Тебе, витязь. Редакционная почта.

Леон Атоян щелкнул по конвертам длинным пальцем:

— Получи я столько — обалдел бы от радости. Блеск!

Ты гигант, Алешка!

Это было весьма неуклюже: многие в редакции, и прежде всего сам Атоян, получали такую же, если не более обильную почту. Рябинин улыбнулся:

— Куда-а там! Популярнейшая личность.

— А что? Точно!

Атоян изящен и непоседлив. Он старше Рябинина и Лесько. От лба почти до самого затылка — широкая лысина, но коротенькие черные с серебром волосы по бокам ее красивы.

Рябинин распечатал верхнее письмо. Оно было от колхозного рыбовода Долголапа. «Здравствуйте, многоуважаемый корреспондент товарищ А. Рябинин. Посылаю вам свои добрые пожелания. И еще шлет вам привет моя жена Татьяна Семеновна с новорожденной доч-

кой Тамарой. Когда вы ночевали у нас проездом, мы и не думали, что вы станете писать статью. А когда статья вышла, все в колхозе были очень удивлены и рады. Конечно, больше всех я. Теперь, наверно, и в области после такой вашей критики зашевелиятся, окажут помощь рыбному хозяйству...»

Он не дочитал письма, — заговорил Лесько:

— Интересная на днях посетительница была...

Атоян перебил:

— Непостижимо! Фантастично!.. Это по поводу твоего очерка о директоре автобазы. Заявляется в промышленный отдел бабуся. Я где-то записал...

Он вытащил из кармана пачку бумажек: листок из блокнота, листок из настольного календаря, обрывок типографского оттиска; пробежав их поочередно глазами, сунул назад и полез в другой карман, за новой пачкой. Лесько косил на него черные, навывкате глаза. То, что Атоян искал, оказалось в третьем кармане.

— Ага, вот... Ефросинья Андреевна Сочина, шестидесяти четырех лет. Работала на автобазе уборщицей, теперь на пенсии. Пришла сказать от себя, какой у них хороший человек директор. Она давно собиралась... — Атоян снова заглянул в листок, — ...собиралась прославить его — прославить, чувствуешь! — в газете, но у ней не было денег на прославление. Денег на прославление! Блеск!.. А теперь, говорит, как раз когда директора прославили, она деньги скопила и просит отдать их тому, кто прославил. Это, значит, тебе. Развязывает узелок в платочке...

— Бросьте, маэстро!..

— Не веришь?! — Атоян подскочил. — Кирилл, скажи ему!

— Все правильно, витязь.

Все-таки он не очень поверил: присочинил Леон, прибавил от себя.

Когда они ушли, Рябинин закрыл глаза и долго отдыхал, вытянувшись и чувствуя ногами холодок спинки кровати. Потом он постарался вспомнить, как выглядит директор автобазы. Наконец тот возник перед ним: канцелярского вида, не улыбочивый, сухощавый.

Все началось с жалобы на этого человека. Ее прислала в редакцию группа шоферов. Управляющий трестом подтвердил: формалист, сущий бюрократ. Трест им крайне недоволен. Назревает вопрос о снятии с должности, но надо мобилизовать общественное мнение. Хорошо, если газета поможет.

С Рябининым директор автобазы держался, очевидно, как и со всеми: ни малейшей попытки понравиться. Но именно это и насторожило Рябинина: нет, чувствующий за собой вину, каков бы ни был у него характер, хоть чуть-чуть, да старается выглядеть лучше, чем он есть на самом деле,— газетчик заявился, тут жди всего...

Да, нелегко дался этот очерк. У авторов письма и управляющего трестом было немало друзей, старавшихся сбить Рябинина с толку. А сам директор никак не помогал ему: оставался неизменно официален и замкнут. Впрочем, все это лишь раздражало Рябинина. Как же он был потом доволен, что разобрался в обстановке, разглядел затаенную, подлую суть хулителей этого человека, близко узнал его и полюбил со всеми его странностями и недостатками!

Потом были звонки из Москвы; кто-то, кажется заведующий транспортным отделом обкома партии Ежнов,

пытался заставить редакцию дать опровержение. Надо полагать, Тучинскому, редактору газеты, пришлось пережить немало неприятных минут. Что ж, такое у него кресло: редакция не бюро добрых услуг.

В открытой двери палаты прозвучал возглас:

— Желаю скорой поправки, друзья!

Больной из соседней палаты. Плотник. Видимо, уже выписывается. А был, говорят, совсем никуда.

Рябинин подумал вдруг: почему мы так мало пишем о врачах? На его памяти газета не напечатала ни одного большого очерка. Только мелочь, информации по пятьдесят — семьдесят строк.

Впрочем, в этом его недовольстве была и маленькая радость — радость открытия темы. Пожалуй, он взялся бы написать о медиках. Это было еще не желание писать, а скорее предвкушение желания: что-то лишь зарождающееся, слабенькое, осторожное. Но Рябинин знал, как много значит этот робкий зов, и прислушивался к нему. Вот совсем так же он, борясь с физическим истощением, ловил в себе малейшее проявление желания поесть.

III

...Зазвонил телефон. Рябинин успел уже отвыкнуть от него. А сейчас, в охваченном утренней тишиной помещении редакции, этот одинокий звонок прозвучал тем более неожиданно, пугающе резко.

Телефон стоял на подоконнике.

— Слушаю.

— Алексей Александрович?.. Здравствуйте, здравствуйте! Тучинский.



Рябинин ответил сипло. Когда он волновался, голос его, и без того глухой и надтреснутый, делался еще более хриплым.

— Звонил вам домой, — продолжал редактор. — Супруга ответила: уже в редакции... Рад услышать вас. Как самочувствие?

— Я в порядке. Спасибо!

— Ну, рад, рад!.. Я с утра в обкоме, а как приеду, заходите. Сразу же и заходите. Поведаете свою героическую быль.

Сегодня Тучинский, а вчера звонили Лесько и Атоян.

Экспансивный Атоян позвонил первым. Он-то и сообщил самую свежую и важную новость — о Лесько.

— ...Боюсь, дело решенное. Сам знаешь, какое у Кирилла в редакции кресло — жаровня. А там мирная нива просвещения. Ректорский пост. Блеск!.. Оклад отвалили вдвое больше здешнего. Что ж, Кирилл — божья коровка? Всякий бы задумался. Нет, считай, мы с ним простились. Горько, но факт.

Редакция без Лесько! Трудно себе представить. Взять и вынуть из живого организма существеннейшую его пружинку.

Сам Лесько о предложении, что ему сделали, вчера не обмолвился. Впрочем, это в его характере.

Где-то в отдалении, внизу хлопнули дверь. Потом еще, уже в другом месте... Скоро редакция вступит в свой рабочий день. «Вместе со мной», — подумал Рябинин.

Вышедшие в его отсутствие номера газеты высокой стопой лежали на подоконнике рядом с телефоном. Их складывал сюда курьер.

Рябинин перевернул стопу, чтобы подготовить газеты

для подшива. Те номера, что уже успели немного выгореть, оказались наверху. Разворачивая газеты, Рябинин клал их одну на другую и прокалывал дыроколом по несколько сразу.

Сначала шли газеты, уже знакомые ему, — первые дни в больнице он чувствовал себя сносно, во всяком случае читать тогда мог. Потом начались номера, которые помнил смутно. А дальше — абсолютно незнакомые... Восемь, десять, пятнадцать, девятнадцать... Потом опять смутно знакомые. И снова провал... А вот тут дела пошли уже на лад. Этот фельетон Атояна он читал. И эту рецензию Орсанова, кажется, тоже... Ну-у, тут уж совсем хорошо.

Номер, в котором был напечатан его очерк, он взял не без волнения. Подвал на второй странице: «Коммунистическая, 41...». Очерк о трех лучших врачах больницы, из которой он выписался вчера утром.

Но разве только ради них, ради врачей — твоих исцелителей, взялся ты тогда, именно тогда, еще в больнице, за перо?

Работа... Какой могущественный, какой верный и бескорыстный друг! Что такое был бы ты без нее? Да и был ли? И даже сейчас — разве не выручает она тебя?

Рябинин затаил, опершись локтями на покатый свой стол.

...История Манцева потрясла весь город, всю область. Вместе с Манцевым в этом позорном деле были замешаны начальник горжилуправления и директор стройтреста. Поживились главным образом двое последних: им на стол клали взятки за ордера на квартиры. Эти двое и опутали Манцева. И все-таки в списке преступников ему — первое место.

Нина сказала:

— Но ведь все они коммунисты, папа!

— Проползают и в партию всякие гады.

— Но как же так, папа, все они руководители! Люди должны верить руководителям!

— Ты же знаешь, мерзавцев сняли, исключили' из партии, отдали под суд.

— Ах, как ты не поймешь! Как они могли — вот в чем дело. Все им верили. Их приветствовали... Помню, я подносила Манцеву цветы, когда он приезжал к нам в школу. На торжественном сборе. Я была счастлива, я волновалась. А как я гордилась!..

Ее слова еще сильнее разожгли гнев. И еще: он думал с немалой горечью, что разоблачение взяточников начала не газета. А ведь, наверное, были какие-то сигналы, какие-то симптомы, пусть самые малозначительные на первый взгляд, но, наверное, были.

Он о многом подумал тогда, о многом, кроме дочери.

Их первый спор — из-за кинофильма, — как и все последующие столкновения, хорошо запомнился ему. Правда, еще прежде между ними случился конфликт, вызванный событием внешне куда более значительным, чем расхождения в оценке картины: Нина ушла из школы. Устроилась на базу Книготорга, кем-то вроде учетчицы — чисто техническая работа. Но Нину это ничуть не смущало. Она пошла бы лифтером, рассыльной, кладовщицом — кем угодно, лишь бы получить справку. Она так и сказала отцу: из-за справки. Он назвал ее заявление верхом цинизма... Липовый производственник, липовый по сути своей документ, да и саму ее учебу в вечерней школе он называл липой. Он не верил, что, уйдя

из десятого класса одиннадцатилетки, дочь сдаст за десятый, выпускной класс школы рабочей молодежи. Провал на выпускных экзаменах неизбежен. Если ее вообще допустят к выпускным экзаменам. Скорее всего не допустят — из-за «хвостов». Вздорная выходка... Собственно, он просто запретил бы дочери и помышлять обо всем этом, если бы не позиция Екатерины Ивановны: а правы ли мы будем, охладив порыв Нины? Вдруг у нее получится? А не получится — ей наука: в конце концов, окончит вечернюю школу годом позже, вровень со своими сверстниками по дневной школе... Да, он изрядно поволновался тогда. Но не об этой истории вспоминал он сейчас.

Нашумевший фильм об инженерах Нина смотрела три раза подряд, открывая в нем новое и новое очарование. Она прочла все, что писалось о нем в газетах. Писалось многое. Фильм возвели в ранг эпохального.

В Рябинине он породил беспокойство. Среди симпатичных Рябинину людей, ясных, красивых умом, трудом, убеждениями, ходил и нес ересь внешне весьма приятный, даже обаятельный молодой еще человек. В конечном счете сущность его цветистых и снисходительных сентенций была простой: человеку верить нельзя, в нем преобладает эгоистическое, подлое начало, — в любом человеке, в каком бы он мире ни жил.

Беспокоило не то, что такой герой появился в фильме, а то, что он разглагольствовал, не встречая отпора. Он любовался собой, и авторы фильма чуточку любовались им. Чуточку... Возможно, они не разделяли его суждений, а возможно, и разделяли. Они выпустили его на экран, никак не выразив своего отношения к нему. Рябинин привык к ясности и любил ясность. Его вкусы сложились давно.

Он спросил Нину:

— Нравится тебе этот тип?

Он не сомневался, что она скажет «нет», просто хотел выговориться.

Нина ответила:

— Почему тип?.. Чем он плох?

— Как?!.

— Чем он плох?.. Он говорит, что думает. Он самостоятельно мыслит. Не какой-нибудь унифицированный суслик.

«Унифицированный суслик» — ошеломленного отца резануло, как она произнесла это: как нечто готовое, легко вынутое из памяти. «Это не ее слова», — пронеслось в голове Рябинина.

— Человек должен быть самостоятелен, искренен, смел, — продолжала она.

— Согласен. Но коли на то пошло, взгляды этого типа — разве тебе по душе? По душе? — повторил он.

— А ты уже спешишь навязать нам свое?

Он не мог ослышаться и все-таки переспросил:

— Что, что?

Дочь смолчала.

— Кому это вам?

— Нам — это нам.

— Тому типу из фильма и тебе?

— Не знаю... — Нина подняла вдруг голову и посмотрела в глаза отцу. — Но я знаю, как лицемерили при культе. Сын отрекался от отца, жена от мужа. Лишь бы выжить! Ползать, но выжить... .

Потрясенный, он долго не мог сказать ни слова.

— Не смей! — заговорил он наконец. — Не смей, слышишь! Что ты знаешь о культе? Что ты можешь знать

о нем! В тридцать седьмом тебя еще не было на свете, в сорок девятом ты была еще ребенком... Да, случилось, сын отрекался от отца, жена от мужа. Случалось. Но, во-первых, не делай обобщений, а во-вторых, даже среди тех, кто отрекался, большинство не подличало, а верило, что их отцы и мужья действительно повинны в чем-то, что их отцов и мужей сумели опутать враги, завлечь в искусно расставленные сети... Пойми, верили, что так или иначе виноваты. Ведь арестованный уже ничего не мог сказать о себе, зато тем, кто остался на свободе, со всех сторон твердили, что арестованный — враг, враг!.. Пойми, все это страшно сложно. Не лицемерие, не трусость, нет, а вера.

— А с какой верой Манцев брал взятки за ордера на квартиры?

— Какая тут связь?

— Прямая.

— Какая прямая?

— У нас полно лжи, подлости.

— Чьи слова ты повторяешь?

— Ты даже не допускаешь, что у человека могут быть свои слова. Он обязательно должен повторять чьи-то? Как попугай, да?

— А я?.. Коли на то пошло, у меня тоже нет своих слов? Я тоже повторяю чьи-то?

Дочь не ответила.

— Значит, и я?

Она продолжала молчать.

— Отвечай!

— Не кричи!.. Не кричи на меня! — В голосе ее слышались слезы. — Всегда вы... все вы привыкли только криком...

— Что?!

Но между ними уже стояла Екатерина Ивановна.

— Отложите разговор!

Она только что вошла в комнату. И хотя Екатерина Ивановна уже с порога поняла, что между мужем и дочерью происходит что-то небывалое, невероятное, она прежде всего увидела крайнюю возбужденность мужа и то, как дорого эта возбужденность может ему обойтись.

Нина вышла.

Несколько минут спустя он рассказал жене обо всем.

— Чудовищно! Кошунственно! — восклицал он.

— Ты преувеличиваешь... Надо постараться хорошо понять ее. У нее какая-то путаница в голове. Что, если я одна поговорю как-нибудь?

— Как-нибудь? Надо немедленно, сегодня же!

— Нет, нет, Алеша, сегодня не стоит. Положись на меня, я выберу момент, и, думаю, у меня все получится.

Не получилось. Нина слушала мать, но ничего не отвечала. Лицо ее не покидала чуть заметная, то ласково-снисходительная, то горькая усмешка.

Потом, наедине с собой, он допрашивал себя: «А может быть, какую-то малость я покривил душой? Может быть, невольно, а все-таки покривил? В тридцать седьмом арестовали Николая, но разве я подумал, что его арестовали безвинно? А я любил его. Пусть простит меня родной брат мой, Борька, но я любил двоюродного брата больше, чем родного. И Николай любил меня. Помню, как он сажал меня маленького на плечи и нес через весь город. Кажется, и сейчас ощущаю твердость его плеч. Помню, как в тридцать пятом он купил мне билет на поездку в Москву — сказочный подарок к пер-



вомайскому празднику. Николай сказал: «Ты увидишь Сталина». И я видел его. Через два года Николая арестовали. И я поверил, не поколебавшись, что его опутали враги, коварные, хитрые, что, значит, и он оказался в стане врагов. Да, да, поверил. Вот как все это было, девочка моя».

...Через несколько дней Нина повесила над своим столом вырезку из журнала: репродукция с картины французского художника.

— Что тут изображено? — спросил отец.

— Написано же: «Мальчик Парижа». Отлично сделано.

Рябинин долго смотрел на картину. Абстракция как абстракция, ничего напоминающего фигуру мальчика, — по всему полотну яркие, пестрые пятна.

— Это что же... в сочетании красок характер мальчика?

— Да, его живость, задор. Разве не здорово?

— Не знаю... Невозможно догадаться.

— Мы многое чувствуем, а высказать не можем. Абстракционисты могут.

— И ты считаешь, что это столбовая дорога искусства?

— А ты считаешь столбовой дорогой парадные портреты?

— Не бери крайности.

— Искусство — это область общечеловеческого: любовь, радость, горе, одиночество — область чувств.

— И еще больше — область идей. Коли на то пошло, искусство прежде всего должно помогать обществу двигаться вперед. А если бы люди погружались в одно чувствование, человечество топталось бы на месте. Нас

ведут вперед общественные, социальные идеи, только они. . .

— Популярная лекция о растлевающей сущности абстракционизма. . . Хорошо, я вывешу здесь фотографию первомайского парада.

Рябинин дико глянул на дочь. Хотел крикнуть что-то, но лишь стиснул зубы. Он решил тогда, что вернется к этому разговору, заранее продумав его и вооружившись выдержкой.

Получилось совсем иначе.

Город узнал о неприятном происшествии: во время сильного ветра с высокой колоннады у входа в парк свалилась скульптура рабочего и едва не пришибла на смерть двух молодых людей.

Как и во всех семьях, у Рябининых зашел разговор об этом. Нина с усмешкой сказала:

— Вот так в нас вдалбливают принципы социалистического реализма и прочие. . . постулаты.

Прежде чем произнести это «постулаты», она чуть запнулась, вспоминая еще не ставшее, видимо, привычным слово.

Тогда-то Рябинин и потерял власть над собой. Гнев и ненависть поднялись в нем — ненависть к сидящей перед ним взрослой девушке с чужим, вызывающе упрямым лицом. Это была не его дочь, не его Нина. Произошла странная раздвоенность. Живущую в его душе Нину он любил столь же самоотреченно, как и прежде; любил той любовью, какую любят в семье единственного, к тому же не очень крепкого здоровьем ребенка, заставлявшего много раз трепетать за его жизнь, взявшего столько душевных сил, что, кажется, их уже не хватило бы на второго ребенка. Рябинин хотел сохранить, от-

стоять эту живущую в нем его Нину, защитить ее от той, другой, незнакомой, замкнутой, злой.

Подойдя к столу дочери, он сорвал висевшую на стене репродукцию, скомкал ее и швырнул на пол.

Нина медленно нагнулась, подобрала листок. Разглядела его и подняла на отца взгляд:

— Теперь я знаю, как умеют плевать в душу.

...Еще до этого дня Рябинин начал чувствовать себя скверно, но упорно убеждал себя, что не слазит. Он и потом пытался упорствовать и все-таки оказался в больнице.

#### IV



...На окне осталась лишь небольшая пачка газет: как раз столько, что дырокол пробил бы их за один прием. Зато газеты, готовые для подшивки, лежали перед Рябининым пухлой стопой. ... «Здорово же ты в этот раз там загостился».

Вчера, вернувшись «оттуда», Рябинин долго, весь вечер, был около дочери. Конечно, с ними была Екатерина Ивановна, и разговаривал он главным образом с ней. Но Нина сидела рядом, и отец не переставая любовался ею, снова и снова любовался чудом, которое совершила природа, сделав последние взмахи резцом, и все в девушке, решительно все обрело законченность и совершенство.

Нина чувствовала его взгляды и немного смущалась. Но даже ее смущение и некоторая скованность не помещали отцу увидеть, как возбуждена и рассеянна Нина, как часто уходит в какие-то свои мысли, тайные, счастливые и тревожные.

Он подумал было: это у нее после письменной, — Нина уже начала сдавать вступительные экзамены в университет. Но, приглядевшись, понял: тут что-то еще.

Он не строил иллюзий. Конечно, он не сомневался, как горячо Нина желала его выздоровления, но вчера вечером чувствовал: нет, не его возвращение домой зажгло в дочери этот трепетный свет ожидания и радости, которым вся светилась она сейчас и который делал ее еще красивей.

А потом, позднее, уже перед сном, Екатерина Ивановна подтвердила его догадку. Собственно, она ничего не знала, просто догадывалась, как и он.

Что ж, пришла пора пережить и такое — девочке восемнадцать.

Но если бы только это!

Девочке восемнадцать, а ему сорок три.

Однажды — было это лет восемь назад — Нина спросила:

— Папа, ты когда родился?

— В революцию.

— В самую-самую?

— Ну. . . почти.

— Интересно было? . .

Он записал этот разговор.

Родился в семнадцатом. Ровесник Октября. Когда в тридцать пятом он поступил в институт, был устроен вечер ровесников Октября, по сути вечер первокурсников, — почти все они приходились ровесниками Рябинину. Он уже осваивал тогда бритву, а выступавшие на вечере говорили о нем и его товарищах — октябрюта. И долго еще потом — до самой войны — было так: стоило ему назвать дату своего рождения, как старшие на-

чинали смотреть на него как-то по-особенному — родительски покровительственно и тепло.

Сейчас ему уже сорок три, а Нине — восемнадцать.

Екатерина Ивановна настояла, чтобы в разговоре с дочерью он не касался пока опасных тем. Пока. Пусть пройдет какое-то время, пусть в доме снова утвердится былая атмосфера, и тогда Нина не сможет не заговорить сама. Надо выждать.

Возможно, в другое время Рябинин не послушался бы жены, но теперь, после всего, что с ним было в больнице, он видел, чем ему грозит новый срыв.

Странно было у него на душе. Вся горечь, вся боль пережитого осталась в нем и, кажется, сейчас даже усилилась: моментами ему не терпелось, несмотря ни на что, немедленно, сегодня же выяснить, изменилась ли Нина в своих суждениях, и если нет, заставить, любыми средствами заставить ее думать иначе. И вместе с тем успех Нины. Собственно, слово это — успех — Рябинин не произносил даже мысленно. Нет сомнения, что учителя вечерней школы полиберальничали: как-никак Екатерина Ивановна преподает хотя и в другой, но тоже в вечерней школе. И нет сомнения, что на вступительных экзаменах в университете Нина провалится — уж там-то скидок не будет (через два дня устный экзамен по литературе, и тогда же станет известно, какую оценку она получила за сочинение). И все же он был огорошен: окончила-таки среднюю школу на год раньше и подала-таки нынче же, как хотела, как и намечала, заявление в университет.

...Из коридора донеслись голоса — двое шли к своим кабинетам:

— Как вчерашнее дежурство?

- Хватили лиха!
- Подвал?
- Да.
- Там же стоял Калугин. . .
- Подрезали, подняли наверх.

По коридору прошел еще кто-то. За стеной зазвучали невнятные, приглушенные голоса.

Рабочий день редакции начался. Пора было и показаться. Испытывая нарастающее волнение, Рябинин направился к двери.

**V** Возможно, Волков хотел, чтобы в Ямсков поехал именно Рябинин, и даже ждал, когда тот выпишется из больницы, а возможно, мысль эта возникла у него только сегодня, когда они встретились у ответственного секретаря.

Прежде Рябинину случалось встречать Волкова в обкоме партии; знакомы они, однако, не были.

— Привет, привет! — сказал заместитель редактора, едва войдя в кабинет Лесько. — Рябинин, если не ошибаюсь?

Потом представился с короткой, суховатой улыбкой и вдруг, после небольшой паузы — Рябинин еще держал в своей костистой руке маленькую, узкую руку Волкова, — добавил:

— Есть интересное дело.

Он был лет на десять моложе Рябинина. У него продолговатое лицо с правильными и несколько холодными чертами, с решительным ртом и крепким подбородком. Костюм, очевидно нарочито сшитый чуть-чуть узким, хорошо подчеркивал завидную стройность фигуры.

Предложил:

— Присядем?

Легко опускаясь на диван, поддержнул на коленях отглаженные в струнку брюки; ноги открылись много выше щиколотки; в черных, со светло-серой строчкой носках, они будто втекали в черные туфли.

— Вы когда-нибудь имели дело с железнодорожниками?

— Главным образом как пассажир.

— Была у нас статья Орсанова о братьях Подколдевых.

Рябинин кивнул: он читал статью в больнице.

Оба они — Орсанов и Рябинин — были специальными корреспондентами газеты. Правда, Рябинин числился литературным сотрудником промышленного отдела. Орсанов же был спецкором по штату — мечта каждого, кто становится на журналистскую стезю: выезжать по особым заданиям, писать только свои статьи, говорить с газетного листа от своего имени. Вообще Орсанов пользовался в редакции особым положением: известный очеркист, автор нескольких книжек... Другой такой видной фигуры среди журналистов области не было. Только он один подписывал свои статьи полным именем — Валентин Орсанов.

Год с лишним назад он приехал из соседней области. Там тоже работал в областной газете и тоже спецкором.

Статью о братьях Подколдевых Орсанов написал после поездки на Ямсковскую железнодорожную ветку. Нет, это не был очерк о героях труда. Подколдевы — их двое, — пропойцы и горлохваты, избили мастера путевого околотка, на котором они работали. Историю

падения этих двух людей и рассказал Орсанов. Рассказал, как всегда, отличным писательским языком. И, как всегда, в день опубликования его статьи газету раскупили особенно быстро, а у газетных витрин было тесно.

— Надо бы опять навестить те места — Ямсков и вообще ямсковскую линию, — продолжил Волков.

— Разве со статьей Орсанова что-нибудь неладно?

— Вспомните, куда ведет Ямсковская ветка.

— Есть решение?... Есть решение о строительстве гидроузла?!

— Есть.

— Ну, тогда конечно! Ветка на такую стройку! Наш Братск.

— Братск не Братск, а в масштабах области стройка первой величины.

Хозяин кабинета Лесько не вмешивался в разговор, лишь изредка исподлобья поглядывал то на одного, то на другого. Насупленный, взъерошенный, он стоял за своим огромным, заваленным бумагами столом, распахнув пиджак, упершись руками в бока и натянув нижнюю губу на верхнюю, — была у него такая привычка: казалось, Лесько нарочно захлопывал поплотнее рот. Редакционные шутники утверждали, что, согласно статистическим исследованиям, общая сумма слов, произносимых в редакции в среднем за сутки, выражается в семизначной цифре и что доля Кирилла Лесько в этом выдающемся достижении постыдно мала — семь с половиной слов.

— Почему бы опять не поехать Орсанову? — спросил Рябинин.

Волков сильнее привалился к спинке дивана. Закинув ногу на ногу, покачал остроносой, поблескивающей туфлей.



— Я за то, чтобы поехали именно вы... Вам не хочется?

— Я-то с удовольствием бы...

— У вас совсем другая задача: жизнь линии, ее проблемы, наконец, люди, их труд...

Рябинин покосился на ответственного секретаря, приглашая его тем самым включиться в разговор. Какое бы ни получал Рябинин задание, он всегда обсуждал его с Лесько. Задание насыщалось мыслями, уточнялось и, наконец, фиксировалось либо в письменных планах редакции, либо просто в той неусыпно работающей кладовой, какой была память Лесько.

Но сейчас Лесько продолжал отмалчиваться, и Рябинин подумал с горечью: «Уже упаковал чемоданы».

— Возможно, Орсанов готов повторить поездку? — снова обратился Рябинин к Волкову.

— Я спрашивал. Не загорелся.

Перебирая на ходу листы чьей-то рукописи, влетел Атоян:

— Позор! Бред сивой кобылы!..

Увидев Волкова, осекся. Сдернул очки, державшиеся на кончике острого носа. Нетерпеливо крутя очки за дужку, прислушался к разговору.

— Так как? — спросил Волков.

— Я хоть завтра.

— Кстати, проведите, пожалуйста, Ногина. Путейского мастера. Того самого, пострадавшего.

— Он поправился?

— Дома, на бюллетене.

— Хорошо, я заеду.

Атоян всплеснул руками:

— Сумасшедший! На линию, к путейцам! В такую

погоду к чертям на кулички! Верная простуда. Ты псих, Алексей! Клянусь!

Лесько, сильнее выпячивая нижнюю губу, переводил черные глаза с Атояна на Рябинина, с Рябинина на Волкова.

— Оформляйте командировку! — Заместитель редактора пружинисто поднялся с дивана. — И не забудьте навестить Ногина.

После него в кабинете остался запах дорогого одеколона.

Атоян стремительно набросил очки:

— Алешка, я с удовольствием устроил бы тебе маленький мордохлест.

— Фу, какой жаргон! — Рябинин сидел на диване, широко расставив руки. — А еще литературный редактор! Наместник Даля на земле.

— Что там у тебя, Леон? — спросил Лесько.

— Не статья, а синхрофазотрон.

— А зарисовка как?

— Это вещи! До Орсанова, конечно, далеко, но лучшие места почти на его уровне.

Лесько чуть усмехнулся:

— Орсанов — классика. . .

— Не ехидничай! — Атоян произнес это серьезно, почти строго. Повернулся к Рябинину: — Ты в самом деле едешь? Негодяй Волков!

— Бранишься пошто, боярин? — В хорошем настроении Рябинин любил употреблять такие обороты речи. — Сказывают, все добрые чувства твои днесь одному князю Орсанову отданы.

— Орсанов — второй Михаил Кольцов. Клянусь!

— Ну, коли на то пошло! . .

Атоян посмотрел вдруг на Рябина так, словно впервые увидел его сегодня:

— Алешка, это ты?

— Я.

— Нет, ребята, мы просто бесчувственные дубы! Алешка Рябинин выписался из больницы, Алешка снова среди нас!.. Ну дай же, негодяй, еще раз память твою лапу!..

## VI

Снова в этот день Рябинин встретился с Волковым у Тучинского, и там заместитель редактора столь же настойчиво, как и раньше, вел свою линию.

Евгений Николаевич Тучинский широким шагом вышел из-за стола навстречу Рябину. Приближаясь, далеко откинул руку, словно хотел наотмашь ударить вошедшего. Рукопожатие было долгим и крепким.

При своем низеньком росте и довольно щуплом телосложении Тучинский любил свободные, широкие костюмы. Запахни он плотнее двубортный пиджак, и полы оказались бы где-то под мышками. Конечно, костюм делал фигуру Тучинского более внушительной, но вряд ли он заботится о такой иллюзорной полноте. Просто Тучинский любил все широкое, под стать своим широким движениям.

Поведя рукой в сторону ближайшего стула, редактор вернулся к своему креслу. Опускаясь, не мог, однако, не глянуть на часы, висевшие в противоположном конце кабинета, — Тучинский, как всегда, был ограничен временем.

Разговор, впрочем, получился неторопливый. Редактор спрашивал о лечении, о врачах. Лицо Тучинского чутко реагировало на рассказ Рябинина, выражая то просто внимание, то почтительное удивление, то растроганность. Был момент — Рябинин рассказал о вчерашней встрече с врачом на набережной, — когда Тучинский, крутанув головой, тихо рассмеялся, и усталые, набрякшие веки его увлажнились. Он опустил голову и не таясь провел рукой по глазам.

Заместитель редактора сидел в стороне, у окна, уткнувшись неподвижным взглядом в острый носок своей чуть покачивающейся туфли. Рябинину был хорошо виден четкий пробор его густых светло-русых волос. Волков выпрямился лишь после того, как редактор дважды подряд глянул на стенные часы и провел ладонями по краю стола, словно вытирая его. В редакции все знали, что означает этот жест.

— Я там распорядился насчет командировки, — заметил Волков, вставая.

— Какой командировки?

— А вот. . . — Волков кивнул в сторону Рябинина.

— Уже? . . . Куда командировка?

— В Ямсков. Вообще на эту ветку.

Тучинский переставил с места на место пресс-папье, бросил красный карандаш в металлический стакан письменного прибора.

— В такую погоду. . .

— Товарищу Рябинину виднее.

— Не знаю. . . А что, есть большая нужда ехать?

— Евгений Николаевич, мы с вами уже договарива-

лись: в связи со строительством гидроузла обязательно надо заняться этой веткой.

— Но кому ехать, конкретно не решили. Пошлем кого-нибудь другого из наших зубров. Почему вдруг именно Рябинин?.. Алексей Александрович, вы что, действительно готовы теперь же?

— Не прочь.

— Я звонил начальнику отделения железной дороги, — добавил Волков. — В Ямскове будут ждать.

Редактор развел руками:

— Ну вот... Теперь уж конечно... Что уж теперь!..

Когда Рябинин был уже у дверей, Тучинский добавил:

— Берегитесь там все-таки. Ноги пуще всего берегите! Не промокли чтоб.

В коридоре Рябинин столкнулся с Атояном.

— Выхожу на орбиту, Леон.

— Едешь?.. Сукин сын Волков!

— Хуже! Чудище стозево, стоглаво.

— Холодный эгоист! Кусок льда! Только вернулся человек к семье!..

— А ежели человеку самому не терпится?

— В городе нечем заняться? Нечем? Откажись, Алешка! Клянусь! Пошлют другого. Откажись!

— Маэстро, вы комик.

Улыбаясь, Рябинин пошел по коридору медлительной своей, шаркающей походкой. Он засунул руки в карманы пиджака так, что большой палец оставался наружу; руки давили на борта карманов, пиджак оттягивался вниз; разительнее вырисовывался бугор спины, еще более впалой казалась грудь.

Воображение уже рисовало ему смутные картины поездки: купе вагона, попутчики, дорожные разговоры;

потом главное — Ямсков (а может быть, и не сразу Ямсков, может быть, надо выйти пока где-то на линии, на полустанке, где работают путейцы), незнакомые места, незнакомые люди — незнакомая жизнь, в которой непременно откроется что-нибудь значительное, как не открытое еще богатство недр или захороненный кем-то клад, что-то такое, о чем будет необыкновенно интересно писать. Писать, чтобы узнали все, писать, чтобы радоваться потом, что об этом узнали все.

## VII



С улицы Рябинин заметил, как Екатерина Ивановна, выглянув на балкончик — они жили на втором этаже, — взяла что-то с пола. На балкончике хранились банки с вареньями и соленьями. «Готовится», — подумал Рябинин.

Вечером ожидались гости.

Он поспешно спрятал за спину свою покупку. Впрочем, это было излишне: Екатерина Ивановна уже скрылась в доме.

Во дворе шла стройка, автомашины натащили на своих колесах скользкую грязь на асфальт, и Рябинин крепче прижимал к себе сверток.

Открыла ему соседка по квартире: она услышала, как он вытирал ноги перед дверью. Поздравила с днем рождения.

Екатерина Ивановна встретила его в дверях их комнаты, захопотававшаяся, счастливая.

— Раздевайся скорей!

— Здравствуй, черепашка!

— Устал?

- Ничуть. Все превосходно.
- Приляжешь?
- И не подумаю. Помогу тебе.
- Все уже готово.
- Совсем забегалась.
- Мне хотелось освободиться до твоего прихода.

Екатерине Ивановне нетрудно было выкроить время на все эти хлопоты: еще продолжались каникулы, учителя занимались лишь с теми, у кого была переекзаменовка на осень.

У Екатерины Ивановны раскраснелось лицо; щеки горели, словно она весь день провела у огня. Брови казались темнее обычного — почти черные; ярче очертился маленький рот. И вся она, невысокая, полненькая, в ситцевом халате с короткими рукавами, выглядела необыкновенно молодо.

- Сколько вам лет, Екатерина Ивановна?
- Тридцать девять, Алексей Александрович.
- Я не дал бы и двадцати пяти.
- Ого! . . Леон посрамлен.

Так уж было принято в семьях работников редакции: поддерживать за Атоян славую отчаянного сердцеда и льстеца (чему сам Атоян нельзя сказать чтобы противился). Никаких подвигов по части сердцеда за ним никто не помнил, но кавалером он был действительно отменным и на редакционных вечеринках господствовал.

- Что Нина? — спросил Рябинин.
- У нее консультация.
- Так и не забежит домой до концерта?
- Не успеет. . . Ты не обижайся. Концерт действительно редкостный. В кои-то века пожалуют к нам из Москвы две такие звезды сразу.

— Не хитри, черепашка!.. Нашей дочери там будет светить лишь одна, особая звезда.

— Хоть бы разок глянуть — кто он, каков?.. Не повлияло бы все это на экзамены. . .

Он откашлялся и произнес, насупившись:

— По крайней мере будет оправдание конфузу, который и без того неминуем.

— Конфуз. . . Это уже чуть помягче того, что ты говорил прежде.

— Могу и повторить. . . Но сегодня просто не хочется. Не тот день.

Екатерина Ивановна улыбнулась украдкой. Спросила:

— Что это ты принес?

Он обрадовался ее вопросу. Не спеша, торжественно положил пакет на стол.

— Это тебе, черепашка.

— Мне?! . Не понимаю. . . Что это?

— Угадай!

— Тяжелое что-то. Купил?

— Купил. Посмотри. . .

Она распаковала покупку.

— Алеша! . .

Он продекламировал тихо:

К тебе я стану прилетать;  
Гостить я буду до денницы  
И на шелковые ресницы  
Сны золотые навевать. . .

На столе лежал альбом грампластинок — полная запись оперы «Демон», любимейшей оперы Екатерины Ивановны.



Она смахнула сбежавшую к носу слезинку.

— Но ведь твой день рождения!

— Разве не угодил?

— Не угодил?! Будто не знаешь, как давно я мечтала.

— Ну вот, значит, я доставил себе радость.

— Себе! . .

— Себе. Именно себе, черепашка.

Она прижалась к его щеке щекой.

— Боже, просто не верится: все позади, ты здесь, ты дома. Просто не верится!

Потом он спросил ее:

— На какое время ты всех пригласила?

— Примерно на восемь.

— Успеем опробовать покупку?

— Да, да, давай послушаем.

У них была одна довольно обширная комната, разделенная пополам легкой оштукатуренной перегородкой. В первой половине что-то вроде столовой. Здесь же стояли кушетка Нины и ее письменный столик. Вторая половина служила кабинетом и спальней Екатерине Ивановне и Алексею Александровичу.

Рябинин пошел во вторую половину за проигрывателем.

— Завтра я еду, черепашка.

Екатерина Ивановна читала надписи на пластинках.

— Демона поет, конечно, Алексей Иванов. . . Ты что-то сказал?

— Я еду завтра. Вечером.

— То есть как? . . — Екатерина Ивановна прижала к груди руку с зажатой в ней пластинкой. — Уже?

— Ну что значит уже?

Она села. Механически поправила свободной рукой волосы.

— Куда?

— К путейцам. На свежий воздух.

Он вернулся с проигрывателем, поставил его на столик Нины, открыл.

— Не надо сейчас, — сказала Екатерина Ивановна. — Посидим так.

Он опустился рядом с ней на кушетку. Взял жену за руки.

— Возвращайся скорей, — сказала она.

— Обещаю.

— Что нового в редакции?

— Кроме того, что ты знаешь, ничего.

— Как новый зам?

— Волков?.. Похоже, его не слишком-то полюбили. Возможно, потому, что уж очень молод, это бьет по самолюбию... Зато собой хорош.

— Кирилл уходит?

— Очевидно. Отмалчивается, прячет глаза... Ты с Кирой не говорила?

Кира — жена Лесько; Екатерина Ивановна с ней дружила.

— Нет... В таких случаях, наверное, лучше не вмешиваться.

— Пожалуй.

— Ты его осуждаешь?

— Во всяком случае, понимаю, что не должен осуждать.

— Любой другой бы на его месте...

— Любой?

— Ты не в счет.

— Мне и не предложат.

— Но если допустить на мгновение, что предложили, я бы наперед знала твое решение.

Он мягко сжал ее руки.

Снова помолчали.

— Алеша... Я должна показать тебе кое-что. Это касается Нины.

Руки его дрогнули.

— Покажи!

Она ушла во вторую половину комнаты. Рябинин услышал, как щелкнул замочек портфеля.

— Узнаешь? — спросила она, выходя и протягивая мужу изрядно истрепанную записную книжку.

— Еще бы. Сам ей покупал. Как это попало к тебе?

— Вот именно, попало... Еще в той, дневной школе Нина выступила на комсомольском собрании с какой-то очень резкой речью, ты знаешь нашу дочь. Мне звонила директор школы, но как-то так получилось, что я не смогла с нею встретиться сразу. А потом Нина ушла в вечернюю школу... И вот уже весной я была у инспектора роно — по другим делам, — и она вручила мне эту книжку. Но я забыла о ней: сам понимаешь, тебя положили в больницу.

— Но при чем тут инспектор?

— Прочти вот здесь. Судя по всему, это писалось на том комсомольском собрании.

Он прочел вслух:

— «Никакой я не молодец. Если хочешь знать, наше собрание — просто детский крик на лужайке. Разве так мне надо было сказать? Нет в нашей школе никакой пионерской организации — вот как надо было сказать».

Рябинин запнулся: следующая строка была написана незнакомым ему почерком.

— Не разберу.

Екатерина Ивановна склонилась над книжкой:

— «Нинка, ты что, совсем с приветиком?!»

Затем снова следовало написанное рукой Нины.

— «Кто для отрядов составляет планы? — читал Рябинин. — Учителя. Кто проводит сборы? Учителя. А стенгазеты? Любой паршивенький стенд делается в учительской. А потом всюду показывают — вот какие у нас пионеры молодцы! Так и в моем отряде было, так и у других вожатых. Я-то хоть чего-то добилась. Жалкие, впрочем, успехи. А совет дружины — это что, не бутафория? О какой же мы пионерской организации всю дорогу кудахчем? Где она у нас в школе? А старушка дира наша и тетя лошадь. . .»

Рябинин поднял на жену глаза:

— Что это?

— Дира — значит директор. Тетя лошадь. . . так они, видимо, старшую пионервожатую зовут. Очень рослая и нескладная. И в лице у нее действительно есть что-то. . .

— «А старушка дира наша и тетя лошадь либо совсем слепы, либо глупы до ужаса. А скорее всего просто лицемерят».

На этом запись обрывалась.

— Директор видела?

— Не знаю. . . Но инспектор сказала мне, что после того собрания было комсомольское бюро, на котором директор потребовала призвать Нину к порядку, на что наша с тобой дочь ответила еще более сердитой речью.

Рябинин рассеянно полистал книжку.

— Каким образом она оказалась у инспектора?

— Ей прислали.  
— Прислали?  
— Видимо, кому-то в классе очень захотелось этого.

Он стиснул книжку, и она скрипнула корочками.

— Так вот почему Нина ушла!

— Нет, нет, не путай. Основная причина все-таки та, о которой ты знал.

— Что же инспектор столько времени держала книжку?

— Заработалась... И потом... разговор предстоял не из приятных. У нас с ней уже было однажды. Тогда это касалось тебя и меня. А теперь дочь. Яблоко от яблони...

— Что за чертовщина?!

— Как бы это тебе все по порядку?.. Ладно, сначала об этой книжке... Понимаешь, чему инспектор более всего ужаснулась? Как посмела Нина утверждать, что в школе нет пионерской организации! Разве может быть так, чтобы в школе не было пионерской организации? Она должна быть. А раз она должна быть, значит, она есть. Понимаешь, какая логика?.. Нина не соврет, ты знаешь, она сама честность. И чего там играть в прятки, у них в школе действительно пионерская работа подмешана работой учителей. Это же страшно! В детях воспитывается лицемерие, убивается инициатива. Тут надо в набат бить!.. А инспектор твердит: раз должна быть пионерская организация, значит, она есть. Есть — и все. Говорить обратное — крамола, подрыв всех основ.

— Что это, трусость, фарисейство, сознательный обман?

— Тут все сложнее и глубже. Скорее самообман.

Привычка к самообману... Помнишь свою командировку на село в пятидесятом или пятьдесят первом?

— Еще бы! Единственный случай, когда я не смог написать ни строчки.

— Помнишь хлеб, который ты оттуда привез?

— Из отрубей...

— В то время мы с этой Лидией Ананьевной работали в одной школе. Я возьми да и расскажи ей, что ты привез. Возмутилась она ужасно.

— Хлебом?

— Конечно, нет. Тобой и мной. Раз официально говорили, что на селе у нас расцвет и благоденствие, значит, так и есть.

— Атрофия самостоятельности.

— В этом человеке полная.

— Но, черт возьми, неужели она... Как ее?

— Лидия Ананьевна.

— Неужели она не изменилась? Времена-то теперь другие.

— Разве окаменелости меняются?

Они снова помолчали.

— Между прочим, — заметила Екатерина Ивановна, — решение Нины сэкономить год учебы они тоже считают крамолой, подрывом основ.

— Кто «они»?

— И Лидия Ананьевна и директор.

В прихожей раздалось два звонка. Два — это к ним, к Рябининым. Значит, уже гости.

## ГЛАВА ВТОРАЯ



Едва придя домой — было немногим более одиннадцати вечера, — Орсанов сел за письменный стол.

«Удивительно, невероятно легко пишется! Никогда не испытывал ничего похожего. Работа не всегда праздник, чаще необходимость. Или насилие над собой; только лицемеры утверждают обратное. А вот сейчас!.. Хочется записывать и записывать.

Конечно, со временем я использую все это. Войдет целым куском в повесть или роман.

.. Я пришел задолго до начала, но она уже сидела в своем десятом ряду.

Я ждал, когда она посмотрит в мою сторону. Я знал, что буду недолго ждать.

Мне вспомнилась первая моя любовь. Я только начал ходить в школу, а она училась во втором классе. Каждый день после уроков я провожал ее до дому. Нет, не до самого дому. Я провожал ее тайно от нее самой, между нами сохранялась дистанция не меньше чем полквартила. Она жила далеко от школы, я шел за ней заснеженными улицами в другой конец города; мне было жутко: вдруг обернется и обнаружит меня? Но путь этот никогда не казался мне длинным: ни в мороз, ни в снегопад, ни в метель.

... Она не удивилась, что я пришел на концерт один. Вряд ли вообще думала об этом. Она давно знала, что я и жена редко появляемся где-нибудь вместе.

Впрочем, на этот раз Лариса не пришла потому, что холодна к инструментальной музыке. Правда, вместе со знаменитым виолончелистом в концерте выступал не менее знаменитый певец. Но Лариса может поступиться музыкой, если есть что-нибудь другое.

Любовь к искусству досталась мне, очевидно, по наследству. От матери. Она неистовая театралка. Вот восхитительный, редчайший пример поклонения Мельпомене. Однажды, в день премьеры в драмтеатре, был гололед; возле самого театра моя старушка поскользнулась и упала. Терпя боль, поднялась, но, когда кончился спектакль, встать со своего кресла уже не смогла. Из театра ее отправили прямехонько в больницу — перелом руки плюс сильный ушиб бедра.

Это было, когда я жил еще там, в родных краях, вместе со стариками. Но и сейчас ее письма — длиннейшие, подробнейшие отчеты о событиях театральной жизни города.

Сколь многообразна природа человеческая! Мать не замечает, что живет в каморке, Лариса не потерпела бы и временных неудобств. Узнай, допустим, она, что кто-то хочет приехать ко мне просто погостить, на дыбы встанет.

А мой отец! Удивительнейшая натура. Раз в год напишет что-нибудь к письму матери ужасным своим почерком и этим ограничится. Что-нибудь короткое, ядовитое и всегда неожиданное: «Покличьте Ваньку-маляра, он напишет все наши великие дела»: читай — дела такие, что глаза б не глядели, да где уж мне, недостойному, описать их; или: «Дела у нас здесь, как у Мюри Мерилиза, только трубы пониже да дым пожире».

Похоже, у него опять какая-то история, в последнем



письме матери есть на это рассеянные намеки. Новая работа — новые осложнения. Великий изобличитель.

...Она снова оглянулась. В тот момент, когда около нее остановился сосед по ряду. «Ну вот, придется расстаться, — сказали ее глаза. — Этот бритый толстяк, наверное, закроет меня, как гора». — «Что ж, до антракта».

Когда я напишу роман, я посвящу его тебе. Я начну роман нынешней осенью. Пора, пора! Вот когда я считаю свои годы. Мне уже тридцать восьмой, а роман пока только в замысле. Но контурно я вижу его. И напишу. Двух лет хватит. Значит, мне будет сорок.

Тучинский сказал на днях: ваши статьи — украшение газеты. Хороший человек Тучинский. В этой газете мне будет спокойно работать, и я напишу свой роман.

Вот только Волков. Ох уж этот Волков! Почему он послал Рябинина именно в Ямсков?

Странно, Рябинин — ее отец, но никогда я не думаю о нем как о ее отце. Он сам по себе, она сама по себе.

...Я знал, где увижу ее после концерта. Есть в этом городе короткая изогнутая улочка. Всего два квартала. По обе стороны мостовой — липы. Старые, но не очень рослые, а какие-то тучные и добрые. Щедрые на тень. Дома под стать липам, тоже старенькие, одноэтажные и двухэтажные. Особнячки. Каждый смотрит на свой лад. Вечером, когда в окнах под ветхими матерчатыми абажурами зажигается свет, видно, что и вся обстановка в домах древняя, почерневшая от времени. Живут здесь, наверное, всякие «бывшие». Когда-то они или их отцы построили эти особнячки для себя. Пройди сто метров, тебе откроется современный, устремившийся ввысь город, а здесь струится, медленно угасая, совсем иная, нетронутая жизнь. Грустная, тихая старина.

Открыв однажды эти два кварталчика, я полюбил их и стал звать моими.

Я догнал ее возле бетонной тумбы, на которую наклеиваются афиши. Это в самом начале улочки. Над тумбой горел фонарь. Бледный, весь в серебряных нитях дождя конус света доставал до основания первой липы. А дальше, за гранью конуса, была бесконечная темнота улочки. Она приняла нас. Мы пошли мимо дремлющих окон.

— ...Нам здорово повезло, правда? — сказал я. — Такой концерт — это как награда.

Она кивнула, губы ее произнесли беззвучное «да». Я продолжил:

— Большой артист играет лишь для себя. Ему неважно, сколько людей слушают его. Он играет, и он счастлив... Необъятны только две вещи, Нина, — мир божий и музыка. Только они могут посостязаться огромностью своей... Что вам сегодня понравилось больше всего?

— Не знаю, — ответила она на мой вопрос. — Пожалуй, певец. Все, что он пел на бис, просто потрясло.

И вдруг добавила почти шепотом:

— Мне надо идти...

— Как?!

— У отца день рождения.

— Сколько ему?

— Сорок три... Я еще застаю гостей... Пойду.

Мы остановились. Ее руки оказались в моих руках.

— Спасибо, Нина!

— За что?

— Даже сегодня вы со мной.

— Такой концерт! . .

— Но на домашние торжества вы все равно опоздали.

— Нет, нет!

Я соединил ее руки. Сжал их, поднес к своему лицу.

— Пусть согреются.

— Надо идти. . .

— Все равно опоздали.

— Надо идти. . .

— Спасибо, спасибо, Нина!

— За что же? За что?

— За все. Спасибо за все!

Она подняла глаза.

— До свидания!

— Вы все равно опоздали, Нина.

Но она отняла свои руки и повторила тихо:

— До свидания!

Мы дошли до того места, где я догнал ее. Свет фонаря закрыл за нами нашу улочку. Дождь шуршал в деревьях.

Она сказала:

— Теперь уж, наверное, до конца экзаменов я никуда.

Это было неожиданно. Я переспросил, пораженный:

— Совсем никуда?

— Наверное.

Я постарался улыбнуться:

— Ну-у, так не бывает. Не удержитесь, Нина.

— Удержусь. Я удержусь. Должна.

Мне представился вдруг ее отец. Вспомнилось как-то разом все, что говорилось о нем в редакции. О-о, это почти легендарная личность: редкое мужество, редкая воля. И я понял: Нина удержится. Она дочь своего отца.

— Вы знаете, что Алексей Александрович едет в Ямсков?

— Едет? Уже едет?

— Странно, что Волков посылает именно его в Ямсков.

— Почему странно?

— Разве вы успели забыть мою статью о Подколдевых?

— Нет, я помню... Я хорошо помню все ваше.

— Напишите мне! Хотя бы когда сдадите эти чертовые экзамены. Или раньше. Напишите хоть что-нибудь!

— Куда?

— Главный почтамт, до востребования.

— Хорошо, я напишу... Я напишу, как буду сдавать.

Остановившись на углу, я проводил ее взглядом до троллейбусной остановки. Троллейбус подошел сразу. Она скрылась в нем. . .»

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

---

Станция называлась Белая Высь. Маленькая станция, всего пять путей. По одну сторону их — мелкий осинник, а за ним широкий, глазом не охватишь, округлый бугор зеленого пшеничного поля. Вдали, за бугром, одиноко торчала макушка колокольни.

По другую сторону путей — поселочек. Беспорядочно разбросанные дома сбежали к речке. А за речкой над самым берегом ошеломляюще неожиданно высилась нагая, сизовато-белая скала, словно какой-то сказочный великан положил свой шлем.

Белая Высь находилась примерно посредине железнодорожной линии, ведущей к старинному городку Ямскову и дальше, к судоходной реке.

Начальник станции рассказал Рябинину, что мастер путейского околотка Василий Евграфович Ногин живет в казарме — так именовался единственный в поселке большой одноэтажный дом, вытянувшийся против вокзала, — но что сейчас мастера дома нет — на курорте.

— Может, с Верой поговорите?

— Кто это?

— Вера-то? Сестра Ногина.

— А где ее найти? Она работает?

— Вера-то?! А как же! На путях она.

— Почему вас удивляют мои вопросы?

— Кто же ее не знает, Веру-то! И у нас на отделении и, можно сказать, по всей дороге.

Вера Ногина и еще двое путейских рабочих делали что-то в конце станции, у семафора. Их было видно с перрона вокзала.

— Междупутьем идите! — предупредил Рябинина начальник станции. — Поезда.

В день отъезда Рябинин побывал у начальника отделения железной дороги Угловых и заведующего транспортным отделом обкома партии Ежнова. Как ни огромно хозяйство, которым командовал Угловых, оказалось, что он хорошо знает Ногина. Главным образом, очевидно, в связи с нашумевшей историей братьев Подколдевых.

— Удалой мужик. Рубака! — аттестовал Угловых мастера. Звучало это несколько иронически.

Добавил озабоченно:

— За характер и поплатился. Ох уж эта несдержанность наша!

Подколдевых он, впрочем, ни в коей мере не оправдывал и о статье Орсанова отозвался восторженно.

Темы этой они коснулись лишь мельком. Разговор же как у начальника отделения, так и у заведующего отделом обкома шел прежде всего о состоянии ямсковской линии: состарилась, нужно менять балласт, шпалы, рельсы. Рельсы ставить мощные, шестьдесят пять килограммов погонный метр (Рябинин старательно укладывал в памяти эти цифры). Сообщили, что обком партии и отделение дороги ходатайствуют о переброске на линию строительного поезда (они называли его ПМС, что означало — путевая машинная станция. «ПМС... ПМС...» — заучивал Рябинин новое слово). Хорошо, если и газета выступит. А вместе с тем расскажет, как в нынешних условиях усилиями путейцев линия живет, работает, служит свою службу.

Что ж, такой характер статьи был по душе Рябинину. «На подступах к гидроузлу», «Дорога на передний край», «Проблемы и будни старой магистрали» — возникали варианты заголовка.

Ежнов сказал:

— С начальника дистанции начинайте, Зубка Петра Захаровича. Крепкий командир («Дистанция, — запоминал Рябинин. — У путейцев — дистанция».) Штаб-квартира у него в Ямскове.

Но уже в дороге Рябинин решил вдруг начать с Ногина.

От Угловых он уже знал, что живет Ногин в Белой Выси.

...Над осинником поднялась стая ворон. Истошно крича, птицы закружились, заметались в сером небе. На станцию, однако, не залетали; едва приблизившись к крайнему пути, поворачивали назад, будто чувствовали какую-то границу.

Смеркалось. В сущности, первый день командировки кончался.

Рябинин шел по станции (про себя он обычно говорил «плетусь», и это абсолютно точно отвечало его походке) и подсчитывал: всего на командировку отпущено пять дней; если вычесть дорогу назад, осталось три дня; семьдесят два часа... Нет, почему же, с нынешним вечером семьдесят пять или даже семьдесят шесть. Но еще неизвестно, будет ли прок от сегодняшнего вечера. Какая обида, что Ногина не оказалось дома!

Раздумывая обо всем этом, он вглядывался в фигуры путейцев, работавших вблизи семафора.

Три девушки. Сейчас они задержались в том месте, где по обе стороны одной шпалы был вынут балласт. Очевидно, девушки и выгребли его. Первая из них, при-

сев на рельс, качала ручку домкрата, подведенного под обнаженную шпалу. Качала быстро, то и дело оглядываясь назад, в сторону семафора, за которым начинался перегон. Вторая, высокая и статная, замерла рядом в нетерпеливом выжидании, держа наготове странного вида лопату: к обычному черенку прикреплена полоса железа едва ли не в метр длиной. Третья девушка с той же поспешностью, с какой ее подруга работала у домкрата, набрала в жестяное ведро щебень — он лежал кучкой возле пути, — набрала, очевидно, строго заданную порцию и высыпала его на железный язык странной лопаты. Еще мгновение — сидящая девушка точными, стремительными движениями вынула домкрат; высокая товарка ее — она стояла, упруго расставив ноги, — тотчас же вогнала под шпалу лопату на всю метровую длину железного языка; выдернув лопату, снова вогнала ее; так несколько раз, широкими, сильными махами. А на путь, точно ложась по обе стороны той же шпалы, уже сыпался щебень: девушки набрасывали его вилами. Набирая щебень, они стремились поглубже воткнуть вилы, чтобы за один захват поднять как можно больше каменистого груза. Когда вилы взметывались вверх, черенки их чуть прогибались в девичьих руках. Потом первая девушка, снова глянув на перегон, подхватила домкрат и лопату — обычную совковую лопату, а не ту странную, с метровым языком — и побежала вдоль пути, к тому месту, где на рельсе была сделана пометка мелом. Мгновение спустя к девушке поспешили ее подруги.

«Сейчас они оголят шпалу, поднимут ее домкратом, и все повторится», — предположил Рябинин. Его захватила эта молчаливая, полная динамизма картина.



Он не ошибся, путейцы стремительно повторили все операции на новом месте. И тогда на перегоне прозвучал паровозный гудок.

Последний вагон поезда простучал мимо. Рябинин подошел к девушкам. Назвал себя.

— Не буду мешать вам пока. Погляжу.

— А у нас как раз смене конец.

Это сказала высокая девушка. Сказала улыбаясь, и сразу стало ясно, что такой уж она человек: улыбнется каждому, прежде чем начать разговор.

Она была в сером свитере. На голове белый платок; он подчеркивал смуглость ее обветренного лица. А глаза — светлые, голубые.

Девушки собирали инструмент. Его оказалось довольно много: ломы, гаечные ключи, лапы, костыльные молотки, лопаты, вилы, домкрат. Установили на рельс тележку, странно напоминавшую сороку с высоко задранным хвостом. Сложили на тележку путейский свой арсенал.

— Так мы пойдем, — сказала одна из них, берясь за «хвост» тележки.

— Ступайте, — разрешила высокая девушка. — Молоток мне оставьте и лопату.

И, снова улыбнувшись Рябину, пояснила:

— Пусть идут. Кино сегодня и концерт. Вагон-клуб приехал.

— Значит, и вы спешите?

— Ничего. . .

— Мне, собственно, нужна Вера Ногина.

— А это я и есть.

— Я так и подумал.

Вера рассмеялась:

— Почему?

— Да так...

Она снова рассмеялась, на этот раз несколько смущенно. У ней были ровные снежно-белые зубы. Очень хотелось, чтобы она чаще улыбалась, и тогда чаще можно было бы видеть эти чудесные зубы.

— Жаркая у вас работа.

— Текущее содержание пути, оно всегда прямо под поездами, при движении. Хотя, если «окно», еще пуще спешишь.

— Что значит «окно»?

— Когда движение закрыто — рельсы сменяем или стрелочный перевод. Дают «окно» на час, на два.

Взяв костыльный молоток и лопату, она пошла в сторону семафора. Взгляд ее был направлен вниз, к рельсам, к шпалам. Вот она заметила высоко торчавший недобитый костыль. Не медля ни доли секунды, Вера бросила лопату, взялась обеими руками за костыльный молоток, встала над рельсом. Молоток, описывая вертикальный круг, взлетел вверх на длину вытянутых рук, а затем молниеносно опустился на костыль. Удар был точен, костыль на две трети влез в шпалу; а молоток уже описывал новый молниеносный круг; короткий стук — костыль прилип головкой к подошве рельса.

Все это было проделано так красиво, с такой удивительной легкостью и свободой, что Рябинин забыл на миг, где он находится; казалось, эта стройная молодая женщина просто совершает какие-то чудесные вольные движения и наслаждается ими.

А Вера уже шла дальше, ощупывая путь придирчивым взглядом.

Рябинин поравнялся с ней.

— Говорят, Вера, о вас идет слух по всей дороге.  
Чем вы заслужили такую известность?

Вера смешливо повела плечами:

— А я знаю? . .

У самого семафора она сошла на обочину и только тогда оторвала свой взгляд от колеи.

— Вы бригадир? — спросил он.

— Я-то? . . Не-ет, что вы!

— Почему же ваши подружки спросились у вас, прежде чем уйти?

Она снова смешливо подернула плечами:

— А я знаю?

После паузы сказала:

— Вы, наверное, приехали с братом поговорить, с Василием?

— Почему только с ним? Я вообще о путейцах хочу попробовать написать. Вот о вас хотя бы.

— А что обо мне?

— Как вы великолепно работаете.

— А о Подколдевых?

— Зачем повторяться? Уже написано. Вопрос ясен.

Она ничего не сказала на это.

— Расскажите мне лучше о себе! — попросил Рябинин.

— Что рассказывать? . . Вы спрашивайте. . .

Они возвращались к вокзалу. Стемнело.

Разговор отчего-то расстроился. Каждое слово приходилось, что называется, вытягивать. Но Рябинин был терпелив. И ему не приходилось принуждать себя к терпению. Оно стало привычкой. Давно минуло то время, когда Рябинина возмущало, что активность в беседе чаще всего проявляет корреспондент, а тот, о ком

предстоит писать, не только не старается облегчить задачу, но словно бы даже упирается. Не все люди владеют искусством разговора, и боязнь нечаянно, по неловкости нарушить границу скромного и нескромного сковывает их.

Зато и другая черта — изъясняясь деликатно, настойчивость — тоже стала привычкой. И хотя Рябинин понимал сейчас, что Вере не меньше, чем и ее подружкам, хочется пойти в вагон-клуб, что ей надо еще успеть переодеться, он все-таки продолжал спрашивать.

Правда, в начале встречи Рябинин понадеялся: разговор с Верой будет приятным и легким. Что поделаешь, ко всякого рода неожиданностям и капризам он тоже привык.

По земле застучал дождь. Рябинин и Вера поспешили укрыться в вокзале.

В пропитанном сыростью и прокуренным помещении горела одна-единственная лампочка. Возле кассы — подгулявшая компания; то ли ждали продажи билетов, то ли просто убивали время; двое пели, остальные шумно, азартно обсуждали что-то.

Рябинин и Вера присели в дальнем от кассы углу. Теперь он нет-нет да обращался к блокноту.

Что он уже знал о Вере? Родилась и выросла в шести километрах отсюда, на разъезде. Отец — путеец. В войну восьмилетней девочкой уже всюю помогала поддерживать в исправности путь. . .

Но биография отнюдь не главное. Вообще Рябинин не знал пока, что окажется главным. Сейчас он был только заготовителем материала для статьи. Потом, когда он опросит десятки людей, ему надлежит стать архитектором. И лишь после всего этого — строителем.

Но нередко при второй, особенно третьей стадии работы обнаруживалось вдруг, что, хотя в командировке исписан не один блокнот, хотя накоплена уйма мыслей и впечатлений, хотя память ломится от всякого рода подробностей, поставщик материала подвел строителя: именно какой-нибудь существеннейшей детали не оказалось ни в блокноте, ни в памяти.

Нет, поставщик не должен щадить себя, хотя для статьи наверняка потребуется лишь десятая, если не сотая доля того, что он заготовит.

Вообще он весьма осторожно оценивал себя. Считал, что его выручает прежде всего усердие. Пожалуй, даже только усердие. У других «искра божия», талант. Другие умеют все делать с лёта и с блеском. Орсанов, говорят, записывает ничтожно мало: фамилии, даты — и только. А потом садится и пишет. И как пишет! . . . Что ж, есть на свете Орсановы, а есть и такие, как он, Рябинин.

. . . Человек в очках, в длиннополом брезентовом дождевике и резиновых сапогах вошел в вокзал со стороны станционных путей. Остановился у двери, скинул капюшон. Сняв очки, начал протирать их. При этом он неестественно широко раскрывал глаза, словно бы устраивал им разминку; брови его то поднимались, то опускались, а лоб то морщился, то разглаживался; двигался и козырек форменной железнодорожной фуражки.

Вера притаилась вдруг. То и дело поглядывая на вошедшего, отвечала Рябинину тихо и невпопад. Пальцы ее быстро-быстро пощипывали свитер.

Человек надел очки, заученным движением поправил их на переносице. Как это обычно бывает у людей, которые не могут и шагу шагнуть без очков, лицо его

Тотчас же, едва он надел их, обрело естественность, натуральность.

Увидев Веру, подошел. Поздоровался сухо, озабоченно. Вера же, отвечая ему, вся посветлела.

Оказалось, что это инженер техотдела дистанции Олег Сергеевич Федотов.

— Печатали уже у вас... Была статья... Валентина Орсанова.

— Тот вопрос в редакции считают исчерпанным, — ответил Рябинин.

— А-а...

И сразу же, будто забыв о Рябинине, сказал Вере:

— Поищу бригадира. Дрезину надо заправить.

«До чего общительный, милый собеседник», — улыбнулся мысленно Рябинин.

— Дальше поедете? — спросила инженера Вера.

— На сто сорок седьмой километр.

— Вы на «Пионерке»?

— На чем же еще!.. Вагоны со шпалами прибыли?

— Утром.

— Как погружены?

— Опять так же, — ответила она тихо, словно извиняясь.

— Стойма?

— И стойма и всяко.

Теперь, лучше присмотревшись, Рябинин поразился выражению лица инженера: горестное до отрешенности, оно, это выражение, казалось, так прочно утвердилось на лице, что его уже никогда и никакими силами невозможно будет согнать.

— Что слышно насчет решетки, Олег Сергеевич? — спросила Вера.

— Похвастаться нечем. — Федотов сказал это с неожиданной резкостью, будто обрывая Веру. Повернулся к Рябинину: — Извините, ждут на перегоне.

Рослый, плечистый, он пошел к двери, по-бычьи нагнув голову. Левая рука его была все время согнута под прямым углом, словно клешня; он помахивал ею в такт своим тяжеловесным шагам.

Вера нервно пощипывала свой свитер.

— Что это за «Пионерка»? — спросил Рябинин.

— Дрезина. . . маленькая.

— Открытая?

— Да, открытая, съемная.

«Если хочешь завтра же опять угодить в больницу. . . Нет, Ксей Ксаныч, и думать бросьте. Такие поездки не для вас».

— На сто сорок седьмом километре случилось что-нибудь?

— Вроде нет. Не слыхала.

— Что же он, передохнул бы. . . Ночь. Дождь.

— Так у нас ночь ли, день ли. . . Путь ведь, сами понимаете. А Олегу Сергеевичу особо приходится.

— Почему?

— На двух должностях. Председателем месткома он.

«А еще считается, что профсоюзные деятели — самые большие «кабинетчики». — Рябинин покосился на Веру. — Трудная у тебя любовь, девочка».

Он назвал ее мысленно девочкой, может быть потому, что сейчас она сидела взволнованная, потерянная, совершенно беззащитная в своем неумении скрывать чувства, а может быть, потому, что внезапно, вне всякой логической связи с происходящим, Рябинину вспомнилась его Нина.

— Что такое «решетка»?

— Плеть значит.

— Плеть?

— Звено колеи, если иначе сказать. Два рельса и шпалы.

— Скрепленные?

— Как же! Готовое звено. Можно сразу класть в путь. Не вручную, конечно, а путеукладчиком. Есть машина такая.

— Понятно.

Понятно было в самых общих чертах, но Рябинин не стал расспрашивать дальше. Покруживалась голова, а многое, очень многое из того, что он уже знал, надо было еще записать. О «решетке» можно спросить завтра, у Зубка.

Он отпустил Веру. Отпустил без сожаления: был уверен, что еще заглянет сюда, в Белую Высь.

Пристроив блокнот на подоконнике, записал все, что видел там, у семафора. Он напластывал подробности, словно хотел, чтобы блокнот прочел кто-нибудь другой и все виденное им представилось тому, другому, с кинематографической ясностью.

Возможно, все это, записанное на нескольких листках блокнота, придется выразить в очерке всего лишь в одном абзаце. И пока он, Рябинин, будет ездить, заготавливать новый материал, в непрерывно работающих тайниках его памяти произойдет такая конденсация. Сейчас, записывая, он словно давал задание памяти, как дают вычислительным машинам из множества цифр получить одну-две.

Вспомнился Федотов. Представилось, как мчится он на своей дрезинке навстречу тьме. Дождь хлещет в



лицо; плохо видно: заливает очки; плохо слышно, потому что трещит мотор и потому что капюшон на голове. А сзади может оказаться поезд. И впереди тоже. Надо вовремя остановиться, стащить с пути дрезину, чтобы потом, переждав поезд, мчаться дальше... Интересный человек Федотов!

Что у него за горе? Какую тайну увез он с собой?

Рябинин уже не мог записывать: устала не рука, устали те центры, что давали ей команду. Поташнивало. Ныл затылок, его словно сжимал кто-то.

Знакомое состояние. Обычно только оно заставляло Рябинина прерывать работу.

Впрочем, для первого дня командировки оно пришло слишком скоро. «Разбаловались в больнице, Ксей Ксаныч. Залежались. Тренировки нет».

Он спрятал было в карман блокнот, но затем снова достал его: вспомнились характерные путевые выражения — нитка пути, текущее содержание... На отдельном листке написал: решетка. Подчеркнул дважды, поставил знак вопроса.

Рука совсем отказывалась подчиняться. Захлопывая блокнот, пожурил себя: «Ведь сказано было: стоп, машина!»

Вспомнилось, как однажды Екатерина Ивановна, оттаскивая его от стола — кончилось-таки даже ее терпение, — выпалила:

— У тебя нет никакой силы воли.

Нет силы воли прекратить работу... Только потом, когда она успокоилась, до нее дошло, почему муж расхохотался.

До начала продажи билетов на поезд еще оставалось более часа. Покашливая — на вокзале было накурено, —

Рябинин вышел на крыльцо, что смотрело в сторону поселка. На маленькой привокзальной площади было темно. Показалось, что дождь перестал; показалось, возможно, потому, что шел поезд и его грохот заглушал все остальные звуки.

Рябинин решил пройтись. И тотчас же, стоило ему заставить себя забыть обо всем, что было связано с работой, мысли его обратились к дочери. Казалось, в нем было два каких-то главных клапана: как только выключался один, тотчас же начинал действовать другой, и новой, жаркой силой наполнялись мысли и воспоминания.

Вчера Нина спросила:

— Зачем ты едешь в Ямсков?

Отец изобразил удивление:

— Вот тебе раз!

Он именно изобразил удивление, потому что определяющим чувством в этот момент было не удивление, а радость оттого, что Нина вступила в разговор.

Она чуть смутилась:

— Я не о том... Почему ты едешь именно в Ямсков?

Он рассказал, в чем суть его задачи. Нина слушала с вниманием, казалось даже с напряженным вниманием.

Почему она спросила? Что за повышенный интерес к этой поездке? Такого еще не было.

Не надо заблуждаться: просто она, как и ты, старается поддержать мир в семье.

Почему она оборвала разговор?

Потому что боится, что ты перешагнешь черту. Значит, она боится, что, если ты перешагнешь черту, мир рухнет. Она поддерживает лишь иллюзию мира.

Но Нина внимательно слушала. Выходит, хотела знать цель твоей поездки. Для чего?

И вообще, что ты знаешь сейчас о дочери?

Ей восемнадцать. Это совсем немного. Она всего-навсего материал, из которого когда-нибудь получится личность. Податливый материал, и ты не знаешь, с кем она сейчас, ты не знаешь, что пытаются лепить неизвестные скульпторы.

Что произошло? Традиционно-историческое — отцы и дети?

Но разве ты и Катя ничего не успели? Восемнадцать лет в твоём доме пошли прахом?

...Дождь не утих, лил с тошной равномерностью. Рябинин вернулся в вокзал. Отряхнув кепку, сел на прежнее свое место, у окна. Подумал: завтра вечером надо позвонить — как у них там? Вообще-то звонить на второй день командировки рановато, но завтра устный по литературе, и завтра же выяснится, как сочинение... Может, хоть на тройку написала? Ну и что? Тройка — все равно что двойка. Конкурс. И вообще — чего там! —



провалится! Провалится с треском. Авантюра! Только сраму наберется.

## II

В Ямскове Рябинина ждал сюрприз: небо очистилось. Синее, в редких, ясных, будто промытых звездах, оно дышало теплом.



В последний раз Рябинин был в Ямскове лет семь-восемь назад. Тогда посреди чистенького залатанного перрона еще стояла каменная коробка бывшего вокзала; оконные и дверные проемы были заделаны кирпичной кладкой, вверху на рваных стенах рос кустарник, кое-где торчали ржавые концы балок.

Теперь уже ничто не напоминало о войне. Из окон вокзала лился на перрон неяркий дремотный свет, и столь же уютно и сонно поблескивали лужицы на асфальте.

Ночевал Рябинин в комнате отдыха на вокзале; в городской гостинице свободных мест не оказалось. Спал плохо: ночью менялись соседи — одни уезжали, другие приезжали.

Утром среди беспорядочно расположенных пристанционных зданий отыскал штаб-квартиру путейцев. Пришел к самому началу рабочего дня и все-таки не застал Зубка — тот уже уехал на линию. А его заместитель и вовсе дома не ночевал.

На счастье, секретарь парторганизации, он же начальник отдела кадров, был у себя.

Открыв обитую железом дверь отдела кадров, Рябинин сначала попал в перегороденную дощатым барьером комнату. Работники отдела сидели за барьером, а посетители стояли перед ним. Комната чем-то странно не понравилась Рябину, но он так и не уловил, чем именно. Затем он оказался в следующей комнате, вернее, комнатке. Она была настолько маленькой, что письменный стол и диван едва уместились в ней. Дверь даже не открывалась полностью: мешал диван. Войди сюда сразу двое посетителей, и, пожалуй, им негде было бы стоять, одному волей-неволей пришлось бы сесть на диван.

В этой комнатке-клетушке сидел богатырского сложения гривастый, седой человек с лицом закаленного воина. Он через стол поздоровался за руку с Рябининым.

Фамилия секретаря парторганизации была Красильников.

— Коллектив у нас и по дороге и в районе всегда, нскать, на хорошем счету. — Он то и дело вставлял в свою речь это твердо, внятно, почти с ударением произносимое «нскать», очевидный рудимент когдатошнего «надо сказать». — В каких условиях работаем! Поговорите с людьми! Путь старый, дряхлый. И в результате каждое звено, каждый стык выхожены. Рабочие у нас, нскать, как няньки над больным... Да любое дело взять. Шефство над селом — наш коллектив впереди... Есть о чем написать.

Распрямив пудовые плечи, потягиваясь, он закинул руки за спинку стула.

— Как там Евгений Николаевич поживает?

— Тучинский?

— На моих глазах начинал, в районной газете, мальчишкой. Я агитпропом в райкоме заведовал. Не у нас, в соседней области. Тучинский, он, нскать, мой крестник... Способный был... И в результате...

«И в результате» — это он тоже вставлял часто.

— Мда-а... Ежнов Павел Степанович, заведующий транспортным отделом обкома... Мы с ним тоже вместе работали. Он в комсомоле начинал, секретарем комитета, в депо. Оттуда и пошел...

Чувствовалось, он был рад случаю погрузиться в эти воспоминания. Но зазвонил телефон, Красильников с явным неудовольствием взял трубку.

Едва он закончил разговор, Рябинин спросил:

— С кем вы мне посоветуете встретиться?

Конечно, это была бестактность, но что поделаешь: время, время!

Красильников вздохнул:

— Скоро вернется начальник дистанции. Соберемся.

И в результате наметим кандидатуры... А пока устраивайтесь с жильем. По этой части мы вам поможем.

— Видел я мельком вашего Федотова, в Белой Выси. По-моему, он что-то не в себе?..

Красильников помедлил с ответом. Поправил на столе стопку новеньких удостоверений личности.

— Попало тут ему, нскать, крепко. Сорвал разгрузку шпал в самый разгар работ. И в результате полетел график ремонта. Было шуму в управлении дороги, в обкоме партии. Вы зачем в Белую Высь-то?

— Хотел Ногина повидать.

Красильников помрачнел.

— Вы что, собираетесь снова дело Подколдовых под-  
нять?

— Нет, зачем же...

— Правильно. Была статья. Нскать, хорошая статья. Замечательная.

...Рябинину отвели место в комнате для приезжих, в общежитии. Поставив возле койки объемистый свой портфель, заменяющий чемодан, он присел с блокнотом у тумбочки (стола в комнате не оказалось). Из тумбочки густо пахло залежавшимся черным хлебом.

Записывать, собственно, было пока нечего, блокнот вынул просто по привычке.

Вспомнился вдруг разговор с Верой. Не весь, а та часть его, что была связана со статьей Орсанова. К своему удивлению, Рябинин только теперь установил, что перемена в Вере произошла именно в этот момент их разговора.

Как это было?.. Он сказал, что хочет написать о путейцах и о ней, Вере, тоже. Она же спросила вдруг: «А о

Подколдевых?» Он ответил: «Зачем повторяться?» Вера ничего не сказала на это, но именно тогда она переменилась к нему. Во всяком случае, их разговор утратил прежнюю свободу.

Похоже, она недовольна статьей Орсанова.

Красильников назвал статью замечательной. . .

Перед отъездом Рябинин на всякий случай перечитал ее.

Валентин Орсанов. «Ночь Михаила Подколдева». . . Конечно, автор имел в виду не только и не столько ту последнюю ночь пьяного разгула, после которой и случилось происшествие на перегоне, в двух километрах от Белой Выси. Ночь Михаила Подколдева началась несколько лет назад. Нельзя сказать, что студент-автодорожник бедствовал. Как все, получал стипендию, иногда ему помогали родные. Но Михаил Подколдев не для того приехал в областной центр из своего Ямскова, чтобы довольствоваться девятирублевыми туфлями на резиновом ходу и упиваться по вечерам тишиной институтской библиотеки.

Студент занялся промыслом. . . В мебельном магазине кто-то собирается сделать покупку, а за ним уже ходит по пятам молодой человек, готовый к услугам. Продавец выписывает чек — молодой человек уже справляется у покупателя, куда везти, сообщает, что есть машина, спешит приступить к погрузке. «Сколько будет стоить?» — «Лишнего не возьмем». . . Но бывает, что покупатель все-таки требует ясности: сколько? Молодой человек называет сумму, у покупателя лезут на лоб глаза. Чертыхнувшись, идет искать машину: сам, дескать, погружу, с шофером. Подходит к одному такси: «Свободен?» — «Нет, занят»; подходит к другому — тот же

ответ. А молодой человек уже грузит чьи-то вещи: для него такси всегда свободны. Синдикат.

Ему пришлось оставить эту коммерцию: синдикат прихлопнули. Да и поднимать шкафы и диваны по лестничным клеткам не просто.

Из института его тоже выпроводили. Несостоявшийся инженер, выдохшийся грузчик вернулся в Ямсков. Объявил себя специалистом по оклеиванию квартир обоями. Но в конкуренции с действительными мастерами этого дела новоявленный обойщик потерпел поражение.

Испробовав еще несколько занятий, он перебрался в Белую Высь, к старшему брату, Семену. Определился на железную дорогу дежурным по переезду. У должности этой было одно бесспорное преимущество: отдежурил свое — и два дня свободен; можно подхалтурить на стороне, что-то погрузить, что-то починить. Оплата — и деньгами и натурой: с кого бутылка, с кого две.

Старший Подколдев долгое время был на дистанции чем-то вроде экспедитора: развозил по путейским околоткам горючее, инструменты, спецодежду.

Но когда случилась та ночная попойка, оба брата уже были рабочими ремонтной путевой бригады. Утром их послали произвести небольшой ремонт на перегоне вблизи Белой Выси. Вскоре, однако, они потребовались для другой, более тяжелой работы на станции. Мастер Ногин поспешил за ними.

Братья спали в лесопосадках, неподалеку от пути. Взбешенный Ногин поднял их.

Они отказались идти с ним. Отказались не только потому, что рассчитывали, оставшись на перегоне, поспать



еще. В тот момент, отупевшие после ночного разгула, они клокотали злостью. Злости нужен был выход. Окажись на месте Ногина кто-то другой, писал Орсанов, с ним было бы то же.

Сначала Михаил сбил мастера с ног. Тот поднялся. Отступи он,— возможно, на этом бы и кончилось. Но разъяренный Ногин сам ринулся на обидчиков. Его снова свалили с ног, и он опять встал. Чем сильнее он ожесточался, тем больше теряли рассудок Подколдевы. Снова свалив Ногина, они били его ломом, топтали ногами.

Они убили бы его, не окажись поблизости путевого обходчика и монтера линии связи.

Был суд, и не верилось, что один из двух преступников недавно слушал лекции в институте.

«Ночь Михаила Подколдева».

...Почему Вера недовольна статьей? А возможно, это лишь показалось?

Хватит об этом!

Рябинин подошел к окну.

Выдался один из тех поразительных дней, которые, оборвав унылую череду холодных осенних дождей, засияют вдруг над оголенной, слякотной, сморщенной землей, заставят ее помолодеть и улыбнуться. Людям думалось: не будет конца сырости и разве что только с морозами придут свет и ясное солнце; и вдруг это лучистое, прозрачное чудо! Оно казалось хрупким, как стекло, как хрусталь: допусти какую-то неосторожность— все рассыплется со звоном, и опять обступят землю свинцовые тучи, промозглая сырость и холод.

Хотя солнце стояло где-то позади здания, Рябинин

чувствовал, что там, за окном, сейчас теплее, чем в комнате.

Он подумал, как хорошо в такой день работается путейцам. И ему снова вспомнилась Вера. Потом перед глазами встал Федотов. И снова Вера — такая, какой она была, когда увидела Федотова. «Огня, любви и кашля от людей не спрячешь», — гласит восточная поговорка... Рябинин улыбнулся грустно: «Насчет кашля — это уж про тебя».

Все-таки похоже, что Вера недовольна статьей Орсона. Надо будет рассказать Орсанову... А что, собственно, рассказать? Что ты знаешь?

Показалось... Глупо! Уж кто-кто, а Орсанов дело знает.

В соседней комнате включили радио. Каждое слово диктора было слышно: стена из сухой штукатурки — идеальный проводник звука.

«Коллектив Ямсковской дистанции пути выступил с инициативой: развернуть социалистическое соревнование за достойную встречу приближающейся годовщины Октября, — звучал голос женщины-диктора. — С небывалым воодушевлением трудится этот коллектив. План текущего ремонта пути...»

Цифры, которые затем назвала диктор, были уже известны Рябину.

«Достойную встречу», «с небывалым воодушевлением»... Какое несметное число раз читал или слышал Рябинин эти фразы! Железный стиль. Гранитная твердь слов, обновляются лишь названия предприятий и цифры.

«С небывалым воодушевлением»... С небывалым... Конечно, то же самое говорилось и в канун Первого мая.

Впрочем, какой спрос с радиовещания такого городка, как Ямсков! Разве не грешит тем же областная газета да и газеты покрупнее?

С небывалым... Выходит, к примеру, девятнадцатый год, коммунистические субботники в тифозной, голодной стране — это детская игра, и только теперь — небывалый энтузиазм. Как мало еще в нас требовательности к себе, как мало уважения к подлинно героическому!

«...возглавляемые коммунистом Петром Захаровичем Зубком, показывают пример активной помощи подшефному колхозу, — читала диктор дальше. — С Петром Захаровичем мы побеседовали в райкоме партии, перед заседанием бюро. Он сказал...»

Из того, что сказал Петр Захарович корреспонденту, Рябинин не извлек для себя ничего нового, но по самой корреспонденции и даже по голосу диктора чувствовалось: Зубок в Ямскове фигура.

Рябинин вернулся к тумбочке, чтобы подготовиться к разговору с Зубком. Пробежал все записи. Натолкнулся на дважды подчеркнутое «решетка». Не забыть спросить о ней.

...В кабинете начальника дистанции кроме самого Зубка Рябинин уже застал Красильникова. Хозяин кабинета читал что-то на тетрадном листке бумаги. Рябинин — он сел сбоку от Зубка — хорошо видел загорелую, изъеденную множеством морщинок шею начальника дистанции. Пожалуй, шея и выдавала его возраст: ему было, очевидно, уже шестьдесят или даже больше.

Зубок положил листок на стол, прихлопнул его рукой.

— Ладно, уважим просьбу. Одиннадцатый околоток самый тихий, пусть там по-стариковски дотягивают до пенсии.

Он решительно написал что-то в углу листка. Выпрямился.

— А по мне, так: будь всю жизнь солдатом. Молодой ты, старый ли, можешь держать ружье — не покидай пост. Умри на посту. — Усмехнулся едко: — Коммунист называется.

Говорил он все это, очевидно, не только для Красильникова, присутствие в кабинете Рябинина было ему, конечно, не безразлично. И все-таки Рябинин чувствовал: этот умрет, но ружья не выпустит.

Начальник дистанции повернулся к Рябинину:

— Нам дали «окно» на два с лишним часа. Меняем рельсы. Недалеко тут, на перегоне. Хотите посмотреть?

— Конечно.

— Тогда поторопитесь. К сожалению, я не смогу с вами. Вас проводит товарищ Красильников. Счастливо! Набирайтесь первых впечатлений.

— Не первых, — улыбнулся Рябинин.

— Ах да, вы из Белой Выси... Ну, о Вере уже много написано. Хватит. Мы вам кое-кого наметили. Они сейчас там, увидите их в деле.

— Там будут решетку класть?

Зубок вскинул брови:

— Решетку?! . Уже и вам наговорили?.. Не забивайте себе голову. Бредовая идея, осуждена руководством дороги и обкомом партии.

— А в чем все-таки суть?

— У соседей — это на главном ходу — идет капитальный ремонт пути. Путевая машинная станция ставит им

новый рельс. А старый у них чуть мощнее нашего. Так вот возник прожект: снятую там, разбитую, заезженную колею перевезти к нам целиком, звеньями, и уложить вместо нашей. Старье на старье менять. Из куля да в рогожку.

— Мы, нската, ставим вопрос радикально: просим произвести действительную реконструкцию пути. А тут мальчишество, ни больше ни меньше. И в результате...

В знакомой уже Рябинину манере Красильников так и не договорил, что именно в результате, а лишь развел возмущенно руками.

### III

Каждая командировка складывается по-своему. Бывало и так: пройдет два, даже три дня, а Рябинин не испытывает ничего, кроме мучительной неудовлетворенности. Казалось, он приготовил в душе своей какие-то большие, емкие отсеки, которые уже невозможно ни заполнить, ни загрузить в командировке; но время идет, а отсеки остаются пустыми, а ведь затрачено немало сил, было немало встреч, бесед, поисков, и пустота эта ноет и ноет.

На этот раз складывалось иначе.

Вернувшись с перегона, Рябинин поспешил в комнату для приезжих. Бросил на кровать пальто, выдернул из кармана блокнот — и к тумбочке.

Он уже успел заказать телефонный разговор с домом. Попросил междугородную позвонить прямо сюда, в общежитие. Но сейчас главным было не это. Главное — все, что он видел на перегоне. Записать, ничего не забыть, не упустить. Скорее записать!..

Нет, он не мог не испытывать благодарности к Зубку и Красильникову. Пусть ему не удалось пока побеседовать с теми, кого они назвали. Но есть еще день завтра, есть еще день послезавтра. А сегодня он видел их во время «окна».

Собственно, он видел не только их. Он узнал, что такое «окно», по-настоящему узнал, что такое путейцы.

Они сменяли рельсы и шпалы на пятисотметровом отрезке линии. Два с половиной часа «окна». Работы были в разгаре, когда Рябинин и Красильников приехали на закрытой дрезине.

Сейчас Рябинина обступали голые серовато-белые стены комнаты для приезжих, но ему явственно виделась неоглядная равнина под неоглядным голубым небом, уходящая к горизонту струна железной дороги и люди, кучно работающие на одном отрезке этой струны.

«Окно» — это значит отдай все. Отдай все, чтобы успеть. Ни одной капли душевных и физических сил, не употребленных в дело.

Звучали, отдаваясь в небе, глухие удары костыльных молотков, звон швыряемых металлических деталей — подкладок, накладок, болтов; шуршал щебень под ногами людей. Но сами люди были немые. Яростная немота. Как ни ничтожно мало сил требуется на произнесение слов, люди не хотели расходовать и их.

Порыв действия, сгусток воли, напряжение рук, ног, спин. Люди были немые, но порой Рябинину казалось, что он слышит работу мускулов.

Отдай все, чтобы успеть... Он старался схватить общее выражение этой волнующей, динамической картины; те из рабочих, на кого обращал внимание Рябинина

Красильников, были неотъемлемыми частицами этой картины.

...Быстро движется шеренга людей, несущих рельс. Рябинин заметил: чаще рельс переносили с помощью больших двуручных щипцов несколько пар рабочих. Но на этот раз рельс переносили в руках. Оттянутые вниз плечи, оттянутые вниз, на всю их длину руки. Шеренга рук, шеренга быстро движущихся рабочих. Тот из них, на которого обратили внимание Рябинина, идет первым. Синяя выгоревшая гимнастерка расстегнута на груди, на шее проступала, надувшись, каждая жила, каждая мышца; бритая голова наклонена, но кажется, она хочет подняться, хочет и не может: рельс тянет вниз, и кажется, лишь благодаря тому, что эта оголенная, багровая голова рвется вверх, рельс остается в руках рабочего, где-то у пояса его.

...Низенький, сухощавый, невидный собой мужчина с лицом, загоревшим до цвета древесной коры, в синем суконном кителе и форменной фуражке, насевшей на самые уши, выдерживает костыли. Вот он поддел костыль железной лапой, поддел и тотчас же, собрав всего себя в единый рывок, нажал на другой конец лапы... Он не упал, когда лапа молниеносно и свободно устремилась вдруг вниз. Лишь злее сомкнул рот. Оказалось, металл не выдержал, у костыля отскочили плечики: отскочили, словно они были из стекла, словно не составляли одно монолитное целое со всем металлическим телом костыля.

...Полненькая девушка в трикотажной кофточке без рукавов, в сатиновых шароварах склонилась над стыком рельсов. Крепкие ноги прямо и недвижимо, будто припаянные, стоят на шпале. Девушка закрепляет болты на

стыке. Гаечный ключ, которым она орудует, огромен. Всякий знает: чем длиннее ключ, тем меньше требуется усилий, чтобы потуже завернуть гайку. И все же, как ни велик ключ, которым работает девушка, она каждый раз, поворачивая его, сжимается вся, как пружина, и в последний момент наваливается на ключ всей тяжестью тела.

...Рослая, костистая женщина выбивает из рельса старую накладку. Она хлещет по ней костыльным молотком, хлещет с маху, так же мощно, привычно, умело, как забивала костыли в Белой Выси Вера. Удар, удар, еще удар... Сломалась рукоять молотка. Женщина не позволяет себе ни удивиться, ни вскипеть возмущением; она тотчас бежит на обочину пути к груде запасного инструмента; выхватив из нее новый молоток, окидывает его оценивающим взглядом; бросает, выхватывает еще один и, столь же быстро осмотрев его, бежит с ним назад.

Красильников сообщил Рябинину фамилии этих четверых. Завтра можно будет побеседовать с ними. Впрочем, они не отличались от остальных ничем. А всего во время «окна» работало семьдесят.

...На тумбочке умещались лишь блокнот да кисть руки; локоть оказывался на весу, писать было неловко, и рука быстро уставала. Рябинин менял позу, передвигал стул, даже несколько раз поворачивал слегка тумбочку и продолжал записывать.

Он положил авторучку, когда почувствовал, что не может больше сидеть, что ему трудно дышать и нестерпимо ноет спина.

Прошелся по комнате.

Орсанов написал о Подколдевых. Но что такое Под-



колдевы перед той изумительной картиной, которая открылась сегодня там, на перегоне!

Не глупи, о Подколдевых тоже надо писать. Но пусть после «Ночи Михаила Подколдева» появится еще одна статья — горячая, взволнованная, восторженная.

Он вернулся к тумбочке. На этот раз его хватило ненадолго: записал лишь несколько слов и почувствовал, что адски устал.

В дверь постучали. Дежурная по общежитию вызывала к телефону.

Екатерина Ивановна была дома, но ничего нового пока сообщить не смогла: экзамен перенесли на завтра. Заболел преподаватель и не успел проверить сочинения. Все выяснится завтра.

Конечно, Екатерина Ивановна уже ждала, когда же позвонит муж, конечно, уже беспокоилась о нем. Услышав его голос, облегченно вздохнула. Но уже завтра она снова начнет тревожиться за него. Относительно спокойно она почувствует себя лишь после того, как он вернется домой. Относительно спокойно.

Улыбнувшись в телефонную трубку, Рябинин коротко отвечал на стереотипные, повторяющиеся каждый раз, когда он был в командировке, вопросы... «Как ты там питаешься?» — «Хорошо. Все хорошо». «Ноги? Сухие ли?» — «Все в порядке». «Как вообще? Нет ли температуры, усиления кашля или еще чего-то?» — «Все нормально...»

Он явственно видел ее, стоящую возле этажерки с телефоном, темноглазую, как дочь, с уже приметными, хотя и редкими струнками седины в черных волосах; видел ее маленькую, но сильную руку, крепко зажавшую телефонную трубку.

Пожалуй, ее доля была во сто крат более тяжелой, чем его: он забывал о своей болезни, Екатерина Ивановна не забывала никогда, наверное даже во сне.

— Что ты сейчас делаешь, черепашка?

— Собираюсь в школу. Ты удачно позвонил.

Она еще отчетливее представилась ему: строго причесанная, чуть припудренная, в черном костюме, скрадывающем ее небольшую полноту.

— Нина дома?

— Да, занимается... Позвать?

— Нет... Не отрывай уж ее... У нее был кто-нибудь в эти дни? Ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю... Нет, кажется, никого... Когда ты приедешь?

— Как намечено.

Вернувшись в свою комнату и улегшись, он решил было почитать. Достал из портфеля книгу «Путь и путешествие хозяйство». Ниже заголовка значилось: «Пособие для дорожных мастеров». Увесистое пособие.

Полистал. Взгляд остановился на схеме: поперечный разрез железнодорожного полотна. Прочел пояснения к схеме, но смысл слов ускользал от него. Нет, больше он сегодня ни на что не способен, хотя и тянет, черт возьми, как тянет еще поработать!

А ведь было же когда-то, было, — казалось, силам предела нет. Сколько успевал! С годами это, видимо, у всех так.

Все-таки несправедливо! Говорят: хотеть — значит мочь; а вот сейчас хочешь и не можешь. Нет, это несправедливо!

Ничего, зато тебя ждет завтра. Как это великолепно: едва проснувшись, услышать в себе живой, настойчивый

зов и тотчас же вспомнить и ощутить все: и то, что вос-  
становились силы, и то, что есть о чем писать, и то, что  
нестерпимо хочется работать, — вспомнить и ощутить,  
что снова день будет хорошим.

Рябинин закрыл глаза. Он не хотел спать, но заставил  
себя лежать без мыслей. Рябинин знал, что недолго бу-  
дет лежать так, что скоро опять начнет думать о чем-  
либо. Он сам поражался этой неистощимости, этой веч-  
ной самовоспламеняемости.

За стеной что-то высыпали на стол. Очевидно, шах-  
маты. Рябинин прислушался к репликам игравших.

Когда Нина была маленькой, она любила играть шах-  
матными фигурами. Выстраивала их на полу — несмет-  
ные легионы, рвущиеся в бой. Тихо, почти шепотом, что-  
бы не мешать отцу, восклицала: «Ур-ра, враг на против-  
ника наступает!», «Солдат, скачи на ту гору и захвати  
знамя!», «Слушаюсь, товарищ король!»

Как-то девочка слишком увлеклась, и отец сказал,  
что она ему мешает работать. Нина подошла к его столу.

— Папочка, ну что ты все работаешь? Пойдем, погу-  
ляй со мной! Ведь оттого, что ты на день позже сде-  
лаешь, ничего не будет?

— Нет, будет.

— А что?

— Совесть замучает.

— Папочка, а ты ей скажи, чтоб не мучила.

— Не послушается.

— Побей ее.

— Это значит себя побить: она ведь во мне.

— А ты вытащи ее из себя и побей.

Маленькая, легкая и теплая, она, ласкаясь, осторожно  
припала к нему.

Сейчас он отчетливо чувствовал, как все это было.

«Ах, если бы она оставалась всегда маленькой!» — вырывалось как-то недавно у Екатерины Ивановны. Нет, и взрослые дети — счастье. Еще какое счастье! Разве он не знал, как Екатерина Ивановна любила бывать с дочерью на людях! А сам он? Разве не испытывал он величайшего удовольствия, когда ему выпадало пройти с дочерью по улице? Хотелось, чтоб встречалось как можно больше знакомых. Но если даже знакомые не встречались, Рябинин, стараясь напустить на себя равнодушный, рассеянный вид, украдкой ловил обращенные на них — на него и на Нину — взгляды прохожих. И хотелось говорить всем встречным: «Да, да, это моя дочь! Моя! Эта удивительная, стройная и хрупкая, полная мягкости и гармонии девушка, это возникшее вдруг на земле чудо, которому я сам не перестаю поражаться, — моя дочь, моя Нина».

Если им случалось с вечера договариваться, что завтра, после школы, она зайдет к нему в редакцию, он просыпался утром с тем же радостным, светлым чувством, с каким человек просыпается в день праздника. И потом, когда она уходила из редакции, отец обязательно провожал ее до последнего лестничного марша.

Конечно, они редко бывали вместе вне дома. Молодость превыше всего ценит самостоятельность. Да у него и не было времени часто бывать с ней где-то вне дома. Но иногда он давал ей понять, что у него есть время пойти с ней. И вряд ли она подозревала, какое разочарование испытывал он, когда Нина уходила, так и не обратив внимания на его намеки. Разговаривая с дочерью, он часто смотрел ей в глаза. Со стороны могло

показаться (да, возможно, и сама Нина так думала), что отец в чем-то сомневается, в чем-то немножко не верит ей и вот испытывает ее; она отвечала ему удивленным, вопрошающим взглядом. На самом деле он просто любил смотреть в ее глаза.

Они не черные, нет. Это поначалу и на расстоянии они кажутся черными. Вблизи они зеленовато-коричневые. Но в них какой-то глубокий, густой свет. Сияющий густой свет, оттого они кажутся темными, даже агатовыми...

Но они особенно чернеют, когда Нина в гневе.

Рябинину представился вдруг школьный зал, шумное собрание и Нина, произносящая какую-то речь.

Что это? Почему?.. Ах да, ее записная книжка! Смело она, однако, смело. Молодец, черт возьми!

И вдруг в нем вспыхнуло знакомое уже ощущение чего-то неладного в себе. Это чувство не раз уже тревожило его. Пожалуй, оно все время было в нем в эти дни, то притихающее, то снова дающее о себе знать. Словно бы он не сделал или не доделал что-то необыкновенно нужное.

...За стеной негромко звенела гитара. Кто-то, судя по голосу — совсем юноша, попросил:

— Спойте эту... «С нашим помпохозом не приходится тужить».

Гитарист не стал ломаться. Подобрал аккомпанемент, взял аккорд.

Эх, любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить,  
С нашим помпохозом  
Не приходится тужить...

Пел он весело, озорно и словно бы чуть посмеивался над самим собой.

Рябинин прослушал песенку. Встал, прошелся по комнате.

Он почувствовал, что, пожалуй, может снова взяться за дело. Раскрыл пособие путейского мастера. Полистал.

Не читалось... Вспомнились слова Зубка: «Ну, о Вере уже много понаписано! Хватит».

Почему так категорически?

Впрочем, это, видимо, в характере Зубка.

А все-таки почему хватит?

Вера и Федотов тоже говорили о «решетке». Похоже, что они относятся к ней иначе, чем Зубок и Красильников.

Надо завтра еще раз спросить об этом Зубка.

Но хорошо бы и Веру спросить...

И снова ожил вопрос, от которого так хотелось отделаться, но который занозой сидел в памяти: почему Вера недовольна статьей Орсанова?

А Федотов?.. Похоже, и он недоволен.

Зато Красильников доволен. И Зубок, конечно, тоже.

Вера — сестра Ногина. Уж она-то должна быть более, чем кто-либо, благодарна Орсанову...

Но главное не это, главное — отношение Зубка к Вере. И «решетка».

Рябинин подошел к окну, постоял возле него. Потом вышел в коридор. Две девушки, одна с электрическим утюгом, другая с графином, спешили из кубовой. Обогнав Рябинина, оглянулись на него с любопытством.

В коридоре висела доска объявлений. Рябинин по-

равнялся с ней, и тогда ему стало ясно, что он подошел сюда не без цели.

Ближайший поезд в сторону Белой Выси был через 35 минут. Переночевать там, утром поговорить с Верой — и назад. А есть ли подходящий поезд назад? Есть. В двенадцать с небольшим будешь уже в Ямске. Вполне устраивает.

Но как получится с ночлегом в Белой Выси? Поезд приходит поздно. Вторая ночь кувырком... Нет, нет, надо как следует отдохнуть.

#### IV

И все-таки он приехал ночью в Белую Высь.

Сейчас было уже утро. Рябинин и Вера сидели на крыльце ее дома. Рассвело. За поселком и речкой четко обрисовалась на фоне прохладного, чистого, по-утреннему розоватого неба одинокая белая скала.

Рябинин рассказал, что наблюдал вчера сплошную смену рельсов.

— Вам понравилось? — спросила Вера.

— В жизни не видел более захватывающей картины труда.

— Но ведь все руками...

— Да-а...

— Ну вот, разве правильно, когда все вручную?

Озаренное неожиданной правдой этих слов, вчерашнее заново вспомнилось, представилось ему... Шеренга рук, несущих рельс, надувшиеся жилы на шее первого рабочего, багровая голова... Рослая, костистая женщина хлещет с маху костыльным молотком по накладке... Не выдерживают, отскакивают, треснув, плечики костыля,

когда сухощавый мужчина, собрав всего себя в один рывок, нажимает руками на конец лапы. . .

Мускулы, только мускулы. Дедовщина. Допотопщина. Прошлый век.

Не увидеть этого!

Невероятно!

Почему так случилось? . . Очевидно, потому, что тебя покорила сама музыка труда. И еще потому, что уже в редакции ты настроился писать положительный очерк. Заведующий отделом обкома укрепил в тебе эту настроенность. Угловых, Зубок и Красильников тоже. И те, что на радио, — корреспондент и диктор. . . Вчера ты увидел лишь то, что настроился увидеть.

Не сваливай на других!

Невероятно!

Рябинин тяжело, сокрушенно выдохнул, словно в этот момент поднимался куда-то в гору.

— Часто бывают «окна»?

— Нельзя без них. Особенно летом, когда самый сезон ремонта.

— Летом, в жару. . . Значит, еще тяжелей?

— Всегда тяжело.

— Но существуют, наверное, какие-то механизмы?

— У нас с этим плохо.

— Почему?

Вера пожала плечами.

— Не везде же так? — снова спросил он.

— Говорят, мы не на главном ходу. . .

— Но хоть что-то предпринимается?

Вера заволновалась вдруг. Опустив голову, сложила замком руки, до хруста сжала их.

— Олег Сергеевич предпринимает. . .



- Что именно?
- Многое... Трактор получили, чтоб на себе ЖЭСКу — переносную электростанцию — не таскать. Теперь насчет «решетки» бьется. Помните, я вам про «решетку» рассказывала?
- Это его идея?
- Его.
- Добавила тихо:
- Вы помогли бы ему.
- «Решетка» облегчит труд?
- Еще как!
- Но есть ли смысл класть старый рельс, старые шпалы?
- Олег Сергеевич все подсчитал. Вам бы с ним...
- Обязательно повидаю его.
- Жаль, Василия нет...
- А что?
- Он бы тоже мог о многом... Думаете, Подколдевы зря на него напали? Это ведь он Михаила Подколдева в бригаду перевел. И Семена Подколдева тоже он в бригаду потребовал. Семен только числился у нас, а сам был экспедитором. Василия Олег Сергеевич поддерживал.
- Ваш брат рассказывал Орсанову об этих подробностях?
- Видно, нет.
- Почему?
- Не вышел у них разговор.
- Не вышел?
- Василий, он ведь с характером.
- Нагрубил?
- Она как-то странно посмотрела на Рябина: то

ли оценивающе, то ли настороженно. Помолчав, сказала:

— Очень прошу вас, повидайте Олега Сергеевича! . . Поддержите его во всем.

Хотя Рябинин видел, что в командировке его определился крутой поворот, и хотя все это было чрезвычайно значительно и важно, он не мог не растрогаться. По-новому, почти с жалостью, с отцовской добротой и состраданием, посмотрел он на Веру. Она сидела, наклонившись и протянув к коленям сложенные руки. Ему была видна лишь часть ее лица — Вера чуть отвернулась. На смуглой, обветренной щеке выступил румянец. Волосы ее были убраны под платок, но несколько пушистых темно-русых колечек выбилось на висок. На просвечивающейся мочке маленького уха виднелся прокол — от сережки.

— Можно дать вам один совет? — спросила она.

— Ради бога!

— На соседней дороге ПМС работает. Путевая машинная станция. Вам бы поехать туда. Вы сразу поймете, чего Олег Сергеевич хочет.

Рябинин оторопел.

— Но это же далеко?

— Железной дорогой, конечно, крюк порядочный, зато автобусом близехонько.

— А где автобус проходит?

— У нас, через Белую Высь как раз и ходит. За сегодня туда-сюда обернетесь.

— За сегодня?

— Обернетесь, честное слово, обернетесь!

— Заманчиво, черт побери!

Вера преобразилась: радость, мольба, надежда — все

это необыкновенно открыто и ярко проступило на ее лице.

— Поезжайте, поезжайте! Успеете! Я вам слово даю, успеете!

Она встала, торопя тем самым и его. Невольно подчиняясь, Рябинин подхватил портфель и тоже поспешно поднялся.

— Вы не будете раскаиваться. Вот увидите. А уж мы-то вам какое спасибо скажем!

...Остановка автобуса была возле вокзала. На листке бумаги, наклеенном на телеграфном столбе, Рябинин прочел расписание. Повезло: автобус ожидался через десять минут.

Снова вспомнилась Вера — такая, какой она была, когда они распростились: возбужденная, счастливая его согласием ехать, она смотрела на него почти с любовью. . . Ему очень хотелось тогда, чтобы Вера улыбнулась и он увидел ее чудесные зубы. И она словно угадала его желание. Лицо ее, украшенное сверкающей белизной зубов, сделалось еще ярче и красивее.

Когда он стоял перед ней, статной, рослой, ему приходилось несколько откидывать голову назад. Обычно он уже не замечал этого, когда разговаривал с людьми. Но сейчас заметил. Усмехнулся: ведь был когда-то дитина на зависть, служил на флоте, в команде корабля правофланговым стоял.

В нем не было жалости к себе, как не было и слепой, кипяще-ядовитой зависти, какая рождается у озлобленных болезнью людей. Чувство сожаления возникало в нем лишь в тех случаях, когда ему приходилось сталкиваться с совершенно очевидным дураком, пышущим неистребимым здоровьем, или же с пьяницей, истреб-



ляющим себя. Но сейчас он просто спокойно фиксировал, как хороша Вера и все, что было в ней, — здоровье, молодость, жизнь.

**V**



Два агрегата, метров по триста длиной каждый, как два медленно ползущих поезда. Только в голове каждого не локомотив, а консольный кран; вместо вагонов — платформы с высокими металлическими бортами, образующими по всей протяженности агрегата долгий коридор.

Один агрегат пятился, другой наступал. А между ними, примерно на километр, — голая полоса: железнодорожное полотно, освобожденное от шпал и рельсов. Белая лента щебня, от которой уползал один агрегат и на которую надвигался другой.

Пожалуй, они походили на каких-то двух огромных драконов. Один, пятась, поглощал старую колею: оторвет целое звено от полотна, подтянет его усами-тросами к хищно вытянутой морде и отправит в свое бесконечное чрево. Другой, наступая, извлекал из недр своего тела звено новой колеи, выбрасывал его, как жало, вперед и опускал на белую ленту щебня; опускал и тотчас же заползал на него; а в этот миг под устремленной вперед узкой мордой уже появлялось следующее звено.

Каждое звено колеи, пока его не уложили в путь, схоже с решеткой. На платформах агрегата эти «решетки»-звенья лежали штабелями. По мере движения агрегата, который укладывал колею, цепь штабелей, протянувшаяся по его платформам, сокращалась и сокраща-

лась; по мере движения агрегата, который убирал старую колею, цепь штабелей на его платформах нарастала и нарастала.

Оба крана-поезда двигались медлительно и прерывисто, но в нерушимом, отработанном темпе. На самих агрегатах людей не было видно; они копошились главным образом под нависающими могучими носами кранов, внизу, на полотне железной дороги.

Между кранами по километровой оголенной белой ленте полотна полз трактор и волочил за собой тяжелую борону: разравнивал щебень.

Все это называлось «комплекс». Снятие старой колеи и одновременная укладка новой. Комплекс.

Рябинин шел вдоль железнодорожного полотна за краном, снимающим старую колею. Слышалось урчание лебедки и повторяющиеся через одинаковые и короткие промежутки времени возгласы: «Вира!», «Майна!»

Начальник путевой машинной станции, следя за работой обоих поездов-кранов и устраняя какие-то невидимые Рябинину неполадки, несколько раз стремительно проходил мимо него и неизменно бросал: «Прошу прощения, я сейчас».

Наконец он освободился.

— Вы слыхали что-нибудь про идею инженера Федотова с Ямсковской дистанции? — спросил Рябинин.

— Отличная идея.

— Расскажите!

— Мы реконструируем главный ход дороги. Вместо рельса в пятьдесят килограммов погонный метр кладем рельс в шестьдесят пять килограммов. Старый рельс в обычном порядке, грузовыми поездами, отправляем на второстепенные участки, где путь особенно слаб.

На такие, например, как Ямсковская ветка. Отправляем, заметьте, только рельс. А ведь снимаем мы путь, вот убедитесь, пожалуйста, — он указал на ползущий рядом с ними кран, — цельными звеньями — «решеткой». Приходится «решетку» разбирать на нашей базе. Так принято всюду. Федотов предлагает: не разбирайте «решетку», а вместе с путеукладчиком, — он снова кивнул на работающий около них агрегат, — горяченькой отправляйте к нам.

— А этот кран может уложить ее?

— Обязательно! Оба наших агрегата абсолютно одинаковы: тот и другой могут разбирать или укладывать путь.

— Черт возьми, какое облегчение для рабочих дистанций!

— Еще бы!

— Но, возможно, эти рельсы уже невыгодно укладывать?

— На Ямсковской ветке они прослужат еще десяток лет.

— Даже если учитывать строительство гидроузла?

— Обязательно. Гидроузел будет обслуживать не только Ямсковская ветка. Конечно, интенсивность движения на время строительства возрастет. Значит, тем более необходимо укрепить путь именно сейчас. «Решетка» — великолепный выход.

— На Ямсковской дистанции есть противники этой идеи.

— Знаю. Зубок.

— Как вы объясните его позицию?

— Петр Захарович — человек громкий. . .

— Не понимаю.

— Лозунг любит. Дай ему волю, он завтра же у себя на дистанции коммунизм объявит.

— Коммунизм! У него там прошлый век. Все на мускульном труде.

— «А труд, товарищи, есть высшее благо».

— Почему он все-таки против «решетки»?

— Масштаб не тот. Не соответствует величию наших задач. ПМС нам подавайте! А вы с «решеткой» суетесь... Плюс канитель всяческая, людей обучать надо.

— Поясните, пожалуйста!

— Мы не можем послать на дистанцию своих рабочих, у нас тоже план, ничего не напишешь.

— Понимаю: Зубку надо научить своих путейцев работать с путеукладчиком.

— Совершенно справедливо.

— Это сложно?

— Кричать «даешь ПМС!», конечно, проще.

— Но ведь заманчиво получить новые мощные рельсы.

— Не забывайте, как дорого обходится металл стране.

— Я не забываю, просто надо понять, что такое Зубок.

— И что такое Федотов.

— Скажите, ведь может случиться, что ПМС еще не скоро пришлют на ветку?

— Зубок ничего не теряет. Даже наоборот, любую свою промашку легко списать: путь старый, какой с него спрос... Чем еще могу быть полезен?

— У вас жесткий баланс времени.

— Ничего не напишешь — «окно».

...Автобус — скрипящая и стонущая всеми своими

швами коробки — спешил назад, к Белой Выси. Наверное, лет двадцать назад этот автобусик, во всяком случае кузов его, можно было видеть на улицах областного центра, и, возможно, Рябинину доводилось и тогда пользоваться им. А теперь вот пыхтит, старичок, по проселкам, продолжает служить, не сдается.

Пожалуй, если бы не трясло так отчаянно, удобнее было бы стоять, а не сидеть. Пружины дивана износились, лишь крайние сохранили некоторую упругость и давили круглыми своими ребрами.

Запах бензина въелся в дерево и металл кузова. Время от времени Рябинин обращал на все это внимание — на неудобство сиденья, на качку и тряску, на запах бензина, а затем снова уходил в свои мысли.

В автобус он садился в состоянии острого, злого, нетерпеливого желания тотчас же вернуться в редакцию и взяться за статью. В командировках с ним нередко случалось так.

Но Рябинин умел сдерживать себя.

Сейчас он тоже сумел справиться со своим нетерпением. Спокойствие, Ксей Ксаныч! Спокойствие и всестороннее изучение вопроса.

И все же, как он ни осаживал себя, гнев клокотал в нем. Виденное вчера на перегоне, вблизи Ямскова, в сравнении с виденным сегодня казалось дикостью, каким-то наглым вызовом нашим дням, вызовом лично ему, Рябинину.

Автобус огibal некрутую гору, поросшую кое-где клочьями леса. На склоне ее пристроилась деревенька, всего шесть-семь домов; казалось, деревенька бежала, бежала в гору и вот, притомившись, остановилась отдохнуть посредине пути.



Рябинин запомнил это место, когда ехал из Белой Выси. Позади осталась примерно треть дороги.

Как было бы здорово, если бы автобус шел до Ямска! Пересадка на поезд в Белой Выси — сколько времени она съест! Конечно, можно еще раз поговорить с Верой. Но главное сейчас не она, главное — Зубок и Федотов. Узел в Ямске, в конторе дистанции. И даже дело Подколдевых надо распутывать там, а не на околотке.

Он отметил вдруг, насколько свободно обращается с такими словами, как «дистанция», «околоток», «ПМС»... Они стали уже его словами.

Пожалуй, из Белой Выси можно будет позвонить в редакцию, предупредить, что, очевидно, задержится. И с домом поговорить.

...Было уже темно, когда автобус остановился возле знакомого теперь Рябинину вокзальчика.

Почта помещалась в бревенчатом доме. В окнах желтел огонь, слабо освещая поросшие буйной зеленью огородные гряды.

Телефонистка, не переставая переключать шнуры коммутатора, выслушала заказ.

Рябинин еще прикладывал трубку к уху, а до него уже доносились взволнованные восклицания жены:

— Да, да!.. Я слушаю! Да, да!.. Алеша, ты?.. Здравствуй, Алеша! Это ты?.. Ты, да?

— Здравствуй, здравствуй! Чего ты так?

— Алеша, ты слышишь? Ты слышишь?

— Ну, ну, что с тобой?

— Алеша, ты не представляешь, что у нас! Ты совсем не представляешь! Нина сдала на «пять». Ты слышишь?

— Я слышу. Я очень хорошо слышу.  
— Сегодня. Сегодня сдала на «пять». Я просто не могу. Просто не могу, Алеша!  
— Ну, ну, рассказывай!  
— Сейчас, я сейчас.  
— Ну, ну, успокойся!  
— Сейчас. . . Возьму платок. . .  
— Я подожду, ты успокойся.  
— Извини. . . Ну вот, сначала она позвонила, когда еще не сдала. Только узнала, как другие сдают. Позвонила и говорит: плохо дело, совсем плохо. Уже полно двоек. Ну, думаю, все. Если уж она не сдержалась, если даже позвонила, значит, действительно. . . Говорю ей всякие слова, чтобы ободрить ее, а что толку?..  
— Я слушаю, Катя!  
— Сейчас. Я сейчас. . .  
— Ничего, ничего. . .  
— Ну вот, она говорит: ладно, пожелай мне еще раз ни пуха ни пера и ругай меня покрепче. . . Я занялась уборкой. Представляешь, начала окна мыть. А не собиралась. А сама жду, жду! И вот звонок. Бегу к телефону, слышу: «Мамочка, это я. Мамочка! . . .»  
— Ну, ну, слушаю.  
— Сейчас. . .  
— Ничего, ничего. — Но он и сам почувствовал вкус соленого на верхней губе.  
Пошутил:  
— Смотри, телефон отсыреет.  
— Пусть!.. В общем, я сразу поняла, что не двойка. Спрашиваю: как? Что? Она говорит: «Угадай!» Думаю: неужели четыре? А сама спрашиваю: тройка? А Нина: «Пять!..» Ты представляешь, Алеша? Представляешь?

— Здорово!.. Прямо повезло... В рубашке родилась... А сочинение?

— Что сочинение?

— Ну письменная? Как письменная?

— Разве я тебе не сказала? Четыре у нее по сочинению. Четыре! Уже девять баллов!

— Смотри ты!.. Что ж... Скажи... Скажи ей, я рад... Или позови лучше ее. Она дома?

— Убежала слушать лингафон. Следующий у нее английский.

— Ну, ну...

— Она спрашивала о тебе.

— Спрашивала?

— Да, спрашивала, почему ты так долго в этом Ямскове.

— Долго?! Обыкновенно.

— В общем, она спрашивала. Приезжай скорей!

— Постараюсь... Ну и новости!.. Ладно, приеду — поговорим... Ну и новости!.. Ты переключи меня, пожалуйста, на редакцию!

— На Кирилла?

Екатерина Ивановна сказала так, потому что до сих пор муж звонил из командировки только Лесько. И она знала, что муж звонил именно Лесько не только потому, что того всегда можно застать в редакции: работа ответственного секретаря способна сожрать у человека все, до единой секунды, двадцать четыре часа в сутки. Но Рябинин звонил именно ему потому, что любил его и всегда говорил о нем едва ли не с преклонением. В каждом деле есть рыцари: муж считал Лесько рыцарем газетного дела вообще и рыцарем своей газеты в особенности. Екатерине Ивановне было совсем не безраз-

лично все это потому, что речь шла о муже ее подруги.

Но сейчас Рябинин сделал короткую паузу и сказал сердито:

— Что Кирилл? Мне редакция нужна... На Волкова!

Ждать почти не пришлось: с редакцией телефонистки умеют соединять быстро.

— Слушаю, — произнес суховатый, словно бы недовольный голос.

Рябинин поздоровался.

— А-а, привет, привет! Как ездится?

— Попрошу разрешить задержаться на день-два.

— Не возражаю. Что привезете?

— Во всяком случае, писать положительный очерк пока не настроен.

— Не настроены?

— Вас это удивляет?

— Почему же? Я знаю ваши статьи.

— Разве я работаю одной черной краской?

— Вы неправильно поняли меня. В общем, задерживайтесь, сколько потребуется.

Он сделал ударение на «сколько потребуется».

— Ловлю на слове, — сказал Рябинин.

— Желаю успеха.

Рябинин повесил трубку.

Однако же повезло, черт побери!

Это «повезло» относилось к Нине... Повторив: «Да-а, повезло», Рябинин вышел в сенцы. На него пахнуло сыростью. В дверь было видно, как частые строчки дождя прошивали желтые полосы света, падающего из окон... До чего паршивый выдался август. Только два дня и постояло вёдро... Хорошо, что именно сегодня ПМС

получила «окно». А вчера — путейцы. Два дня были как по заказу. Хотя, конечно, и в дождь работы ведутся. . .

Потом он опять подумал: «Повезло, повезло!» — и опять, почему-то убегая от всего, что было связано с Ниной, произнес мысленно: «Теперь Федотов. Где он: уже в Ямскове или еще на линии? . .»

**VI** Утром следующего дня в конторе дистанции Рябинин встретил Красильникова. Тот шел по коридору. Поздоровался несколько хмуро. Пригласил к себе.

Рябинин уже успел зайти в техотдел, и там ему сказали, что Федотов еще не появлялся, но что его ждут с минуты на минуту. О том, что Федотов должен приехать в Ямсков сегодня утром, Рябинин уже знал от Веры — вчера в Белой Выси успел повидать ее.

Минуя первую комнату отдела кадров, Рябинин на этот раз заметил, что в окнах между рамами вставлены железные прутья, и понял, почему позавчера в облике комнаты ему почудилось что-то гнетущее.

Такими же прутьями было забрано и единственное окно в кабинете начальника отдела.

— Готовлю вот отчетный доклад, — сказал Красильников. — Собрал данные. Можете записать. Искать, объективные данные: есть и положительные наши стороны и отрицательные.

— Благодарю вас, я обязательно познакомлюсь.

Красильников в упор посмотрел на Рябинина:

— Дело в том... Я не пойму что-то: вы о людях писать приехали или нашу работу проверять?

— Я приехал познакомиться с жизнью путейцев.

— Пожалуйста! Что вас интересует? Массово-политическая, партийно-воспитательная работа? Пожалуйста! Я, нскать, все освещу объективно. — Он говорил строго и твердо, продолжая смотреть Рябину прямо в глаза.

— Я хотел бы вернуться к разговору о «решетке».

Красильников пожал плечами:

— Пожалуйста.

Да, он был прямодушный человек, и лицо его выражало неподдельное недоумение.

Позвонил Зубку:

— Петр Захарович, у меня сейчас корреспондент. . . Да, приехал вот из Белой Выси. . .

Положил трубку, спрятав на какое-то мгновение под своей ручищей едва ли не весь аппарат.

— Сейчас начальник дистанции придет.

. . . На Зубке была темно-синяя, новенькая, с иголки форма. В черных с зеленым кантом петлицах на двух серебристых просветах — две звездочки.

Спросил Рябина:

— Что вы исчезаете так сразу? Мы даже испугались за вас.

Лицо Зубка, как и шея, было густо испещрено морщинами. Рот приотпустился в углах — это бывает у пожилых людей — и, словно потянув за собой все лицо, образовал две сходящие от носа вниз резкие борозды.

Спросил Красильникова:

— Женский вопрос приехал?

— Должен бы. . . Не видел еще, — ответил тот и пояснил Рябину: — Это у нас Федотова так прозвали: «Женский вопрос».

— За что же?

- Успеется еще, расскажем.
- Зубок заметил:
- Видать, беспокойный вы человек. Трах-бах — и в Белую Высь.
- Я всегда много мотаюсь. Иначе не получается.
- Давно мне любопытно: сколько вам, корреспондентам, платят? Вот Орсанова взять, сколько он за свою статью получил?
- Не знаю.
- Полсотни, не меньше, — твердо вставил Красильников.
- Возможно. Орсанов у нас на особом положении.
- Не скупятся у вас, — продолжил Зубок. — Орсанов пробыл на дистанции день — и полсотни.
- Но статью надо было еще написать.
- Ну, сколько он сидел? Вечер?
- Не знаю. Не один вечер, во всяком случае.
- А вы бы сколько просидели?
- Мне так не написать.
- Ну все-таки?
- Мне нужно неделю.
- Между прочим, Бородин наш, Игорь Иванович, часто в печати выступает. — Красильников откинул к спинке кресла огромное свое тело; высоко вскинув гривастую голову, уставил задумчивый взгляд куда-то мимо Рябинина. — Первый секретарь обкома, член ЦК... Сам-то он, нскать, с Волги. В войну директором завода был, на вооружение работал. Приезжал к нам на фронт. Я секретарем парткомиссии дивизии был. И в результате... Встречались. Помню, все окал — бойцы, политотдел...
- Три-четыре своих статьи в месяц печатаете? — перебил воспоминания Красильникова Зубок.

— Одну. И не каждый месяц. У нас хватает другой работы.

— Им еще оклад идет, — заметил Красильников.

— Сотни две с половиной? — предположил Зубок.

— Я получаю сто, — ответил Рябинин.

Брови Зубка дернулись вверх. Красильников выпалил:

— Брось! Не может быть!

Изумление его было столь искренним и сильным, что Рябинин рассмеялся. И, как обычно, когда он смеялся, ему пришлось поплатиться: вспыхнул кашель.

Справившись с приступом, подтвердил:

— Уж вот так.

— У нас на дистанции, нскать, инженер прямо с институтской скамьи столько получает.

— Каждый выбирает свое.

— Мотаетесь туда-сюда. И в результате. . . Здоровье тоже у вас не из крепких.

Зубок возразил жестко:

— Все мы на своем посту!

Повернулся круче к Рябинину:

— Коммунист?

— Да.

Зубок кивнул. Переменив позу, спросил почти требовательно:

— Ну, что там, в Белой Выси? О Ногиной, что ли, хотите писать?

— Она не заслуживает этого?

— Для чего же мы вам дали кандидатуры?

— Не премину воспользоваться вашими рекомендациями.

— Какие будут вопросы ко мне?



- Я хотел бы вернуться к идее Федотова.
- Вы о «решетке», что ли?
- Да, прошу вас!
- Я уже говорил, решено не латать старый кафтан.
- Федотов предлагает более мощные рельсы.
- Все равно придется ставить рельс в шестьдесят пять килограммов.
- Со временем. А пока?
- В стране создается материально-техническая база коммунизма, а вы «пока».
- Коли на то пошло, ради создания этой базы надо уметь экономить средства.
- Он что, жалобу написал, Федотов-то? — спросил Зубок.
- Нет, Федотов не писал жалобы.
- Вы знаете, что он недавно сорвал нам работы? Позор на всю дорогу!
- Я, нскаль, уже информировал.
- Знаете, что приказом по дороге ему объявлен выговор?
- Прошу прощения, но мне не хотелось бы отвлекаться от темы.
- Вежливость Рябинина все более насыщалась холодом. Это неумение скрывать чувства он всегда считал своим большим минусом. Но Рябинин ничего не мог с собой поделаться. Подчеркнутая вежливость, к которой он прибегал как к средству маскировки, не спасала.
- Вам не кажется, что у вас на ремонте пути господствует дубинушка? — спросил он.
- Механизмы бросают на главный ход дороги. Мы тут ни при чем.
- Идея Федотова — это и есть механизация.

— Товарищ корреспондент, я уже сказал: хлам с других дорог нам не нужен.

— Повсюду, нскать, работы ведут путевые машинные станции, а нам вдруг... И в результате!.. Черт знает что! Все говорят, нигде такого не было.

— Это не аргумент.

Зубок встал:

— Товарищ корреспондент, все аргументы проверены в службе пути дороги, в отделении и в обкоме партии.

Он вышел.

— Дело в том... — начал после паузы Красильников. — Вы не знаете Петра Захаровича. Нскать, опытный путеец. Крепкий хозяйственник. И в результате... Почитайте районную газету, нашу дорожную газету. Мы, нскать, по всем показателям. И не только производство. Взять помощь сельскому хозяйству. Да любое, нскать, массово-политическое...

Он не закончил — открылась дверь.

— А-а, приехал. — Красильников произнес это угрюмо, но беззлобно, даже с некоторым состраданием.

В дверях стоял Федотов.

## VII

Поодаль от конторы дистанции, в окружении производственных построек — мастерских, гаража, складов, — стояло, дразня свежими белеными стенами, приземистое, почти квадратное здание — красный уголок путейцев.

Сюда и привел Федотов Рябинина. Поскольку у Федотова было две должности, то и рабочих мест у него было два: в техотделе — там он сидел как инженер — и

в красном уголке — резиденции месткома. В техотделе людно, и побеседовать решили в красном уголке.

В зрительном зале, занимавшем всю площадь здания, вместительном, но низковатом, словно приплюснутом, неподалеку от входа, в углу, стояли письменный стол и сейф.

— Здесь и заседаем, — сказал Федотов, стесняясь, что привел гостя в это пустынное и холодное помещение. Поправил очки знакомым уже Рябину движением — нажал пальцем на переносицу; неуклюже опустился было на стул, но сразу поднялся, потому что гость продолжал стоять.

Рябинин огляделся:

— Недурно. Даже на клуб похоже.

— Ну, это не моя заслуга. При моем предшественнике строили.

Он волновался. Это было заметно. В неловкости переступал с ноги на ногу, переставлял предметы на столе. Левая рука Федотова, неизменно согнутая под прямым углом и несколько отведенная назад, была малоподвижна, и это усиливало впечатление неуклюжести, которое так отличало его плечистую фигуру.

— Олег Сергеевич, за что вам объявили выговор?

— Я расскажу... Сейчас расскажу. — Глаза его под очками казались выпуклыми. — Вы не обижайтесь, что я тогда, в Белой Выси, так по-дурацки с вами...

— Ничего не заметил.

— Не думаю. Но вы извините. Случаются, знаете, в жизни моменты: одно к одному... А тут мне говорят: корреспондент к нам. До газетчиков ли мне было? Да еще после статьи Орсанова. Хотя если бы вы тогда называли свою фамилию...

— Ну, какую роль играет фамилия!  
— О-о, еще бы! От разговора с Рябининым я бы не отказался.

— Хм. . .

— Нет, нет, это вы напрасно! У нас в Ямскове, например, ваши статьи хорошо знают. Можете мне верить. . . Но вот так случилось, что упустил. Казус, конечно, но, даю слово, никак не мог предположить, что это вы. Рябинин всегда представлялся мне абсолютно другим — этакий, знаете, львище. . . Простите!

Рябинин рассмеялся.

— Простите! — повторил Федотов. — Казус, знаете, просто казус. . . А вчера, когда я заезжал в Белую Высь, Вера Ногина вдруг говорит мне, что ваша фамилия — Рябинин.

— Расскажите о себе все.

— Да, да, я расскажу.

Они сели за стол. Рябинин достал блокнот.

. . . На дистанции Федотов недавно, год с небольшим. Прежде работал техником в управлении дороги. В институт поступил, на заочное. Поэтому-то и перебрался в Ямсков. Сын растет, нужно, чтоб кто-то присматривал за ним. Невозможно и работать, и учиться, и вести хозяйство в доме. Хоть невелика семья — он да сын, — а все ж требует времени. А здесь, в Ямскове, тетя. Пожилая одинокая женщина. С радостью приняла обоих. Нет, он не развелся с женой. Он вдовец. Три года, как вдовец.

Слов нет, путевские работы специфичны. Есть операции, которые трудно механизировать. Но нельзя же ничего не предпринимать, нельзя не искать, не экспериментировать.

Должность инженера на дистанции — это немало. И все-таки вскоре он понял, что ему нужен какой-то плацдарм, какая-то высота, с которой можно было бы успешнее вести бой.

На профсоюзном собрании выбирали новый местком. Пополнение списка для голосования шло со скрипом. Не успевал председательствующий записать названного кем-нибудь кандидата, как тот вскакивал, чтобы заявить о самоотводе. И уж конечно никто по своей воле не поднялся со стула, чтобы сказать, что, если его кандидатуру выдвинут, если ему окажут доверие, он не прочь поработать.

Федотов сделал это.

Он не мучился сомнениями, хотя сознавал, что кое-кто может подумать о нем худо и ему, возможно, придется труднее, чем другим членам месткома, — любая ошибка в счет пойдет. Но местком — это уже позиция. Огневая позиция. ОПэ, как говорят артиллеристы. . . Да, он служил в артиллерии. . . Да, рука у него такая с войны. И со зрением неважно: контузия.

На первых порах он был рядовым членом месткома и ведал производственным сектором. К тем временам и относится начало истории со шпалами.

Они тяжелые, шпалы, — в каждой почти сто килограммов. Ничего удивительного, их пропитывают креозотом. Но вес весом, а самая большая каверза в этой ядовитой пропитке. Голым телом не касайся — будет ожог. Особенно летом, в жару, когда креозот растопляется.

Их привозят в полувагонах. Верхние шпалы выгрузить полбеда — они сравнительно сухие. Да и выбрасывать их из полувагона легче. Но по мере разгрузки все больше углубляешься в полувагон и все выше приходится

поднимать шпалы, чтобы перекинуть их через борт. А они сочатся креозотом. Стоять скользко. Да еще ядовитые испарения мучают.

Подъемный кран? Да, да, есть! В том-то и дело, что есть. Самый подходящий, самоходный, на дрезине. Но как взять краном шпалы, если полувагон битком набит ими без всякой системы: одни стоят, другие лежат? Как подводить под шпалы крановый трос?

Выход один: грузить шпалы так, чтобы их удобно было извлекать из полувагона краном. Идеальный вариант — пачки, разделенные прокладками.

Как просто, правда?

Шпалы грузят на шпальных заводах. А там, разумеется, борьба за производительность труда и финансовую экономию. Значит, грузи шпалы быстро и так, чтобы меньше требовалось полувагонов, — набивай, как сельдь в бочку.

Пришлось поездить к ним туда, на заводы, убеждать, доказывать, воздействовать через партийные органы.

Месяца два-три на заводах считались с путейцами, но в канун лета все пошло по-прежнему.

Федотов знал, на что решался, когда властью, данной ему профсоюзной организацией (еще весной его избрали председателем месткома; прежний уехал на учебу), запретил выгружать шпалы в острейший момент — в самый канун «окна». Он предвидел взрыв недовольства в отделении, в управлении дороги; он не сомневался, что о его из ряда вон выходящих действиях станет известно в райкоме, а возможно, и в обкоме. Что ж, надо было наконец приковать всеобщее внимание к проблеме выгрузки шпал. Нужен набат.

Это было, в сущности, не так давно. Пока самым определенным результатом его действий можно считать выговор, объявленный инженеру Ямсковской дистанции Федотову О. С. начальником дороги.

Роль Зубка?.. Тут многое переплелось. Первый серьезный бой пришлось дать из-за Семена Подколдева.

Но сначала, для ясности, еще один вопрос — женский вопрос. Между прочим, кое-кто на дистанции так и зовет Федотова — Женский вопрос! С этого вопроса он начинает каждое свое выступление на собраниях, им же и заканчивает.

Так для ясности сначала о женском вопросе.

Женщин вообще не следовало бы подпускать к ремонтным путевым работам. Разве что принимать одну в бригаду, для выполнения всяких подсобных заданий: в дежурном помещении убрать, воды рабочим принести. А если уж и выйдет она с бригадой на путь, так для самого легкого: бровку подправить, траву вырвать. Собственно, так и было до войны.

Но в войну женские руки содержали и ремонтировали путь. Как повелось в войну, так примерно продолжается и сейчас. Во всяком случае, мужчин в бригадах меньше, чем женщин. Выдьюжили в жестокое, голодное военное время, теперь и подавно выдьюжат. Конечно, формула эта не выведена крупными буквами по фасаду здания конторы дистанции, но Зубок любит ссылаться на героизм военных лет. Зубок — железный командир.

Давно ли Зубок на дистанции? Почти двадцать пять лет. Четверть века. Начинал бригадиром.

Теперь о Семене Подколдеве.

На дистанции так повелось: кладовщик ли, экспедитор ли, механик ли тележки для контроля состояния пути —

непременно мужчина. Даже дежурные по поезду — мужчины.

Местком пошел в атаку на эту традицию, и первым из мастеров, поддержавших его, был Василий Евграфович Ногин. Он начал с младшего Подколдева: предложил ему сменить флажок дежурного по поезду на более увесистый инструмент путевого рабочего. Младший Подколдев пожаловался брату — тот был не просто экспедитором, а состоял при особе Зубка чем-то вроде ординарца.

Зубок не считал возможным отменить распоряжение мастера, но Федотову намекнул: поумерь свой пыл, хозяин на дистанции один. Зубок пришел в ярость, когда Ногин официальным письменным заявлением потребовал в бригаду и Семена — тот числился в штате околота, — а местком подкрепил это заявление специальным решением.

Так еще задолго до нынешнего выговора в приказе случилось размежевание: Петр Захарович Зубок, начальник дистанции, член бюро райкома, заслуженный, почитаемый человек, с начальником службы пути дороги на «ты», — и Федотов, Женский вопрос.

Начальник отделения? Он прекрасный знаток локомотивного хозяйства. Из начальников депо. Тяговик, как говорят на транспорте. Тяговик до мозга костей. Душою Угловых всегда там, где локомотивы. О путевцах вспоминает лишь при чрезвычайных обстоятельствах.

Все завязалось в один узел: и женский вопрос, и Подколдевы, и выговор за предерзостный поступок — запрещение выгрузки шпал.

И «решетка».

Придет время, когда любую операцию на ремонте



пути, даже на такой ветке, как Ямсковская, будут выплывать машины. Придет. И уж конечно никто не станет сменять рельсы вручную. Возможно даже, дистанция заведет свою портативную путеукладочную машину. А скорее всего за дистанцией останутся лишь самые мелкие текущие работы, все остальное — дело путевых машинных станций. Разные варианты возможны.

Но для Ямсковской дистанции в теперешней обстановке «решетка» — лучший выход.

Вот, собственно, и все.

Выговор приказом по дороге — это, конечно, неприятно. Да нет, чего там, это, конечно, больно. Но ничего. Ничего!.. Хотя был момент, когда подумалось: а стоит ли продолжать? Как-то так получилось, что и выговор этот, и все неудачи, и все, что было и есть плохого, — все разом вспомнилось. Учебу в институте забросил. Ради нее переехал сюда — здесь тетя, есть кому сына доверить, чтобы самому засесть за учебники. Ради учебы и переехал и тем не менее запустил. Нет времени. Ни минуты. На сон не хватает.

Есть, наверное, какая-то связь между прошлыми событиями его жизни и нынешней преданностью женскому вопросу. Наверное, есть. Жена погибла от ожогов: воспламенился этиловый спирт. Она несла слишком тяжелую бутылку и выронила ее. А поблизости чиркнули спичкой. Неосторожность за неосторожность. Жена работала на лакокрасочном заводе. Рядовая работница. Как те, что работают сейчас на пути в Белой Выси, в Ямскове или еще где-то.

А с сыном тоже не все ладно. Тетя — прекрасный, добрейший человек, но нет у нее больше ни внуков, ни детей, один он, внучатый племянник. И дорог он ей

невероятно, и балует она его сверх всякой меры. Надо бы самому заняться им. Надо, а нет времени.

Да, был такой день, когда подумалось: не хватит ли? Тем более что и результаты пока мизерные. И еще подумалось: будут перевыборы месткома, и окажется Федотов О. С. снова просто рядовым инженером, целиком подчиненным Зубку... Был такой день. Как раз в Белой Выси. Ехал на дрезине, остановился, потому что горячее кончилось. Вера сказала: «Вот товарищ корреспондент к нам», — а прозвучало: «Вот еще один Орсанов к нам».

«Ночь Михаила Подколдева»... Живописание истории одного подонка. Точнее, двух. Ну и что? Чем помогла статья?

Не будем спорить! Может быть, вы действительно считаете его статью хорошей, а может быть, — простите за прямоту! — лишь защищаете честь корпорации.

Да, был такой день: все скверно, и ниоткуда нет помощи. И хватит ли сил продолжать? И вообще, кто вы такой, Федотов О. С., зачем вы?.. А тут еще дождь. Льет и льет, льет и льет. Никакого просвета. Все скверно, все отвратительно... Был такой день. Был и прошел. Хватит о нем. Больше не повторится.

Конечно, глупость. Какое там одиночество! Есть крепкие союзники.

Рубака? Допустим, в этой аттестации есть доля правды: Ногин действительно горяч. Но ведь для дела горяч. Лучший путейский мастер на дистанции.

Рубака — это пошло после случая с инструктором райкома Панеевым. Была жалоба: Ногин сместил бригадира в рядовые рабочие. Бригадир и написал жалобу. Пустой человек. Болтун и лодырь. Ногин, безусловно, прав.

Панеев приехал в Белую Высь — и прямо в бригаду. Выяснить мнение рабочих. Очень правильно поступил. Вообще, Панеев — настоящий партиец, настоящий инструктор райкома. . . Беседует с рабочими. А тут откуда-то Ногин. И сразу же с ходу: «Почему людей от дела оторвали?» И пошел. . . Такой характер.

. . . Рябинин положил авторучку, потер озябшие руки.

— Что вы намерены предпринимать, Олег Сергеевич?

— Насчет шпал все сначала — поеду на главный наш завод-поставщик. Насчет «решетки» напишу начальнику дороги. В общем, буду долбить по всем пунктам.



— Включая женский вопрос?

— Надо оправдывать кличку.

## VIII



«Сейчас к себе», — подумал Рябинин, выйдя из красного уголка. К себе — это значит в комнату для приезжих. Собраться с мыслями, наметить план дальнейших действий.

Федотов снова представился Рябинину: худощавое, острое лицо, глаза под очками кажутся выпуклыми, крепкая, сильная шея. «Буду долбить по всем пунктам», — сказал он. И подумалось: Федотов похож на дятла. Дятел упорно делает свое дело.

Показалось здание конторы дистанции. В длинной шеренге окон — три зарешеченных.

Обитая железом дверь, железные прутья в окнах, и за этой крепостью — Красильников, секретарь парт-организации. Можно ли представить себе что-нибудь более нелепое!

И вдруг, казалось бы вне всякой связи с Федотовым,

Красильниковым и Зубком — всем тем, что волновало сейчас, представилась университетская аудитория — большая комната с рядами пустых столов и стульев, и только впереди, за отдельным столом, сидит старичок, лобастый, лысый, с кучерявым белым пушком на висках и белыми усами, а перед ним — Нина; она говорит что-то, а старичок удовлетворенно кивает головой; потом он берет у Нины экзаменационный лист и вписывает в него одно слово: «отлично».

Почему это столь отчетливо представилось именно сейчас?

Что произошло? . .

В этот день у Рябинина было еще несколько встреч и бесед — полезных и бесполезных, спокойных и напряженно-нервных, продолжительных и коротких; долгий и стремительный день, обычный день командировки. И все-таки, как ни был этот день насыщен делами, Рябинин между встречами и беседами, а иногда и во время них нет-нет да и возвращался к этому: «Что произошло? . .» Рябинин не мог не возвращаться к этому, потому что уже хорошо видел всю огромность и важность случившегося. И он понимал: та тревога, то ощущение неладного в себе, которое вот уже много дней жило в нем, трепетало, то притихая, то усиливаясь, и было этим вопросом. . . Мысли его были бессвязны и отрывочны. Собственно, он уже не спрашивал себя: «Что произошло?»; но этот вопрос, как и тревога, сжимавшая сердце, как и горькое обнаженно-ясное чувство вины, заставлял думать, вспоминать, делать открытия. . . Зубок и тот инспектор района, Лидия Ананьевна, и директор школы, благообразнейшая старушка, привыкшая к лицемерию, как к добротному, сшитому из сверхпрочного

материала старому платью... Катя сказала: они, директор школы и инспектор района, сочли решение Нины крамолой, подрывом основ. Когда Катя сказала ему об этом, речь шла о записной книжке Нины, о ее выступлении на комсомольском собрании, о хлебе из отрубей — о многом, но только не о решении Нины, и все-таки Катя сказала. Ты понимал, конечно, для чего она сказала, но смолчал. Больше: даже себя обманул, даже себе постарался внушить, что не понял ее намека... Никто не ставит тебя в один ряд с ними, но тем горше было Кате увидеть тебя в их компании. Нина: «Кому это нужно, терять лишний год! Знаний прибавится? Умнее станем?» Помнишь, как ты взвинтился, взревел: «Ересь! Дикость! Отвратительная самонадеянность! Нигилистский бред! Все обсуждено, изучено, взвешено, все закреплено в важнейшем постановлении...» Перешла в выпускной класс вечерней школы и все-таки сумела догнать, сумела сдать все зачеты, выдержала выпускной экзамен, подала заявление в университет и сейчас выдержала уже два вступительных экзамена, выдержала хорошо, великолепно, блестяще! Ты и вчера сказал: повезло. Даже вчера, упрямец!.. У тебя на редкость одаренная дочь? Она исключение? Или так смогли бы многие?.. Да, она поступила на работу лишь ради справки. Получила ее и вскоре же уволилась. Липовый производитель. Но в том ли порок, что Нина на год раньше окончила школу, пусть даже прибегая к таким богопротивным действиям, как поступление на работу ради одной лишь справки, или в том, что великовозрастные девицы и парни, изнывая от скуки, отсиживают в одинадцатом классе, хотя могли бы уже или учиться в вузе, или заниматься какой-то полезной деятельностью?..

Но все это частности. А что же главное? . .

Вечером, ворочаясь в скрипучей, глубокой, как спальный мешок, — сколько людей пользовались ею! — кровати в комнате для приезжих, он ответил на этот вопрос: что же главное? Никакие постановления не заставят Нину назвать нелепицу мудростью, глупость — благом. В этом смысл ее бунта. И она имела право на то, чтобы отец постарался выслушать ее и понять. Но для него существовало только постановление. Только оно.

Конечно, не уход Нины из школы, а другое жестоко столкнуло их и привело его, Рябинина, на больничную койку. В нем и сейчас не было ни капли сомнений, что в последнем счете самая большая правда на его стороне. Но он ничего не сумел тогда, до больницы. Почему не сумел, это тоже ясно теперь. От крика не рушатся даже спичечные домики. Крик не аргумент. Приходить в бешенство от инакомыслия дочери, требовать, чтоб она изменила свои суждения, требовать, не убеждая, ничего не доказывая, требовать, и все, — разве так можно! И он ничего не сумел тогда. Крик не аргумент. Это именно так. И он ничего не сумел при всей своей правоте и всей своей убежденности. Кстати, собственная убежденность — это тоже еще не аргумент. А уж крик тем более.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

---

Ты сказала себе: нельзя! И это окончательно. Ты знаешь, что это окончательно.

А позавчера ты даже написала письмо. Уже написала. Встретиться, рассказать обо всем, что произошло! Отдать хотя бы частицу своей радости. Ее слишком много, ее просто невозможно вынести одной... Сначала ты позвонила матери. Из университета. Когда ты закрыла за собой дверь аудитории — той огромной, пустой лекционной аудитории, где ты сидела одна с экзаменатором, — тысячи солнц сияли в коридоре. Ты вихрем слетела вниз, в вестибюль, к телефону. Потом через каких-нибудь двадцать минут ты была уже дома и повторила матери все, но уже в подробностях. Потом ты позвонила подругам. И все-таки это было не то, не то. Мучительнейшее не то. Казалось, если ты не напишешь, если не встретишься, не расскажешь, невозможно будет делать что-нибудь дальше. Просто невозможно будет жить.

Но ты порвала письмо. У почтового ящика.

Нельзя! Ни завтра, ни послезавтра. Еще нельзя.

Перед тобой учебники английского языка, словари, тетради. Ты устала. К тому же стрелки часов показали, что пора сделать перерыв. Ты сама наметила, когда сделать перерыв.

Твой маленький письменный стол стоит возле окна. За окном видны перила балкончика; по железным пры-

тьям стекают дождевые капли. А тебе представляется зимний лес, просека, некруто уходящая под гору. А может быть, это и не просека, а просто расступились деревья, чтобы дать дорогу лыжне. Там, внизу, ветви деревьев закрывают ее, казалось, ложатся на нее. Далеко ли она убегает, где кончается или где сворачивает?.. И ты остановилась перед ней.

Тогда и случилась первая встреча.

Кто знает, почему ты вспомнила сейчас именно первую встречу! Может быть, оттого, что твоя рука случайно легла на холодную батарею, что под окном, а от окна тоже веет холодом, и тебе немножко зябко. Кто знает... Но ты можешь вспоминать, можешь разрешить себе отложить на время учебники и вспоминать. Как желанна она, эта возможность!

Ты стоишь перед неизведанным, немного пугающим тебя лесным спуском и слышишь за собой бег чьих-то лыж. Он приближается, и ты уступаешь дорогу.

Ты помнишь первые слова: «Не трусьте, там вполне безопасно». Он бросил их на ходу. И ты узнала его. Видела прежде, он вел какую-то передачу по телевизору.

Как это великолепно: мчаться вниз, не зная, что тебе откроется, что тебя встретит! Интересно и страшно. Сверху кажется, что коридор, по которому бежит лыжня, постепенно сужается, что наступит момент, когда деревья будут задевать за плечи и снег с ветвей будет сыпаться на тебя. Но ты мчишься вниз, и деревья расступаются перед тобой, дальше и дальше открывая дорогу. Но самое великолепное оказалось внизу: надо круто повернуть; не сумеешь — врежешься в мелкий густой ельник. Ты сумела.



Тебе захотелось испытать все еще раз, и ты пошла наверх.

Он поднимался впереди — наверное, тоже решил повторить спуск. . . Может быть, поэтому и тебе захотелось испытать все сначала?

Ты поднимаешься быстро, потому что хочется беспрестанного движения, беспрестанного расходования сил. Ты напеваешь про себя: «Смело, братья, бури полный, парус свой направил я!» Эту песню очень любят в твоей семье. И ты тоже любишь. Ты напеваешь ее и знаешь, что никто не заставит тебя изменить ей, этой песне, хотя в душе нет-нет да заговорит тихая тревожная боль.

Кажется, никогда еще ты не видела отца в таком гневе. Но ты сделала то, что задумала. Пусть беспокойно на душе. Не давай себе отдыха, беспрестанно что-то делай и больше двигайся, не скупись на затрату сил, так ты внушила себе. И пожалуй, поэтому ты решила пожертвовать одним днем. Нет ничего лучше, чем лыжная прогулка.

Это было нелегко — сделать то, что ты задумала. Нет. Нелегко. Девять с лишним лет в одной школе, почти вся твоя жизнь с ней и в ней. Ничего, ничего! «Смело, братья!..» Ты на год раньше окончишь университет, на год раньше вступишь в настоящую жизнь. И ты сразишься, в полную силу сразишься с такими, как Манцев. Или с такими, как ваш директор, ваша «дира». Их еще много в жизни. И может быть, тебе будет трудно. Может быть, придется чем-то жертвовать. Что ж, ты готова к лишениям, готова к жертвам, если они потребуются. Пожалуй, ты жаждешь их.

Ты поднимаешься рядом с лыжной, по которой толь-

ко что мчалась вниз. Какая снежная и ранняя зима! Начало декабря, а пышнобокие юные елочки уже укутаны снегом. У некоторых торчат из белых одежд лишь прямые задорные макушки.

Подняться осталось совсем немного. Мимо, улыбнувшись тебе, проносится он. Синяя с белой полоской шапочка, синяя, из какого-то плотного материала куртка с «молнией» — ты ни на ком еще не видела такой.

Он недавно появился в городе, но сразу заставил говорить о себе. Отец еще плохо знаком с ним, но сказал как-то: «Лучше его у нас в области никто не пьет».

Ты повторяешь спуск. Но на этот раз слишком поздно поворачиваешь в самом конце и падаешь, боясь влететь в чащу молодого ельника. Загрохотали в ногах лыжи, куда-то далеко отбросило палку. Он был поблизости, он помог тебе встать и принес палку.

День покатился дальше, в том же лесу, на тех же просеках, на тех же некрутых подъемах и спусках и под тем же солнцем, то обнаженным, то спрятанным за ветвями, умиротворенным и словно бы отдалившимся. Но ты узнала, что речка в этом лесу еще не везде замерзла. Он повел тебя к ней, и ты увидела под заснеженным обрывчиком живой синий лоскут воды; отраженная верхушка сосны дрожала в нем. Потом ты смотрела вверх и ждала. «Сейчас, сейчас!» — предупреждал он. И случилось: вершины деревьев пришли в легкое, бесшумное движение, — наверное, набежал ветер, хотя ты не слышала, не чувствовала его; с ветвей пухлыми, тяжелыми кусками сорвался снег, словно слетели большие белые птицы; сорвался и сразу же рассеялся в серебристую

пыль, и она неторопливо поплыла на землю широкой прозрачной завесой. Потом ты увидела, что под соснами снег усыпан тонкими и мелкими чешуйками коры, а под березами он первозданно чист; ты увидела, что стволы берез там, где они освещены снегом, белее самого снега.

А потом было совершенно необыкновенное: беспорядочные нагромождения снега на молоденьких елочках в лесной чаще оживали. «Вот медведь стоит на задних лапах», — слышала ты, и действительно, белый медведь, разинув белую пасть, двигался на тебя. «А это верблюд. . . А вон там кто-то скачет на коне. . .» И действительно был верблюд и был всадник. И был старик с бородой до колен, и огромная сова, и леший — он раскинул длинные руки с худыми, колючими пальцами-веточками, — и целый хоровод еще каких-то фантастических существ. . .

Потом, когда вы шли по длинной просеке к тому спуску, возле которого и случилась ваша встреча, он сказал: «Издаেকে вы в своем красном джемпере были как рябининка на снегу». Ты рассмеялась. Так он узнал твою фамилию.


Еще бы ему не знать твоего отца! И все-таки он был изумлен, хотя и сказал: ничему не следует удивляться. Сказал сначала по-латыни, а потом перевел. Ты и не знала, что есть такое латинское изречение.

Он говорил тихо. В лесу надо говорить тихо; попробуйте крикнуть, и вы увидите, как деревья шарахнутся от вас. Это тоже сказал он.

Сначала ты просто слушала его. Потом подумала со жгучим сожалением, что все, что он говорит, никем не будет повторено. Все останется здесь, в лесу. Ах, если

бы записывать!.. И ты стала запоминать, чтобы записать дома.

...Тогда был декабрь. Теперь уже август. Тетрадь, в которой ты делала те первые записи, кончилась. Уже начата другая. Получилось что-то вроде дневника. Он здесь, в твоём столе. Часто ты достаёшь его не для того, чтобы записать, а для того, чтобы просто полистать, перечитать какие-то места, все равно какие, или просто подержать в руках.

 Тебе захотелось сделать это и сейчас. Но ты посмотрела на часы. Перерыв кончился.

II «Поздравьте меня: сдала английский. Четверка. У меня уже тринадцать баллов. Сочинение — четверка, устный по литературе — пять. Осталась только история».

Был ещё один вариант письма, в нём добавлялось: «Сегодня часов в восемь вечера я приду навестить те два ваших квартала. Не знаю, получите ли это письмо вовремя, но я все равно приду».

Но ты послала короткий вариант, хотя и знаешь, что все равно придёшь сегодня навестить те два квартала — не в восемь, так в семь, или в девять, или даже в десять.

Тебе не стало спокойнее, когда ты послала письмо без той приписки. Конечно, ты испытывала бы потом огромную неловкость, если бы оставила приписку. Но тебе не стало спокойнее, нет. Как раз наоборот. Что ж, теперь дело сделано. И потом, наверное же, сама себе не смея в том признаться, ты надеялась: он прочтёт и что-нибудь предпримет.

Письмо было опущено в первой половине дня. Он получил его вечером. В тот день он дважды заходил на почту. Он ждал письма от тебя.

III

Утром Орсанов звонил в Москву, и ему сообщили, что сборник его последних очерков не вошел в план издательства. Объяснили: трудно с бумагой.

Он ждал чего угодно, но только не такой обескураживающей вести. Расстроенный, не смог заставить себя работать и сразу же ушел из дому.

Зашел на почту. Девушка, сидевшая за окошечком с надписью «Корреспонденция до востребования», достала стопку писем и начала ловко перебирать их. Отложила одно, снова быстро заработала пальцами. Орсанов ближе придвинулся к окошечку. Но стопка кончилась — ему ничего не было, кроме того, отложенного письма — от матери, он сразу узнал по почерку. А больше ничего, и у Орсанова даже мелькнула невероятная мысль: «А что, если письма вообще не будет?»

Мать писала до востребования по привычке: он не сразу получил квартиру в этом городе.

Разорвал конверт. Несколько сложенных вчетверо листов из какой-то устаревшей и неиспользованной бухгалтерской книги. Сколько он себя помнил, у отца всегда были про запас эти книги и всякие бухгалтерские бланки.

Орсанов пробежал последнюю страницу письма... «Уж и не знаю, что, если я приеду ненадолго? .. Ты опять не посылаешь свои статьи. .. Отца вызывали куда-то там, но это его дело... Не переутомляешься ли ты? Как у тебя давление? Кушай как можно больше меда. . .»

Потом он побывал у Кушнира. Тот вернулся с курорта, лечил свой радикулит (зимой наживает его на подводном лове рыбы, дичайшем увлечении многих интеллигентов этого города, а летом лечит; так цикл за циклом, год за годом). Приехал с юга: плечи еще шире, бородачища еще больше. Те, кто не знает, что он местное литературное светило, шекспировед, принимают его за священнослужителя. Ну, поп не поп, а уж громила-дьякон обличьем — это истинно. У Кушнира сидел кое-кто из его коллег по пединституту и несколько студентов. Царил дух критицизма, острого, как перец. Но Кушнир помалкивал. Только и рассказал: студент-заочник остановил его в институте, в коридоре; хотел спросить: когда вам можно будет сдать Шекспира? — а сказал: когда вам можно будет сдать Кушнира?.. Он сфинкс, этот Кушнир: поглядывает хитренько на все нынешнее из своей бороды да своего шекспировского далека.

Немного выпили. Совсем немного, как обычно у Кушнира. В общем-то было неплохо, но Орсанову не сиделось, и он распростился.

Вечером снова пошел на почту. Там его ждало твое письмо. И он позвонил тебе. Безрассудство? Пусть.

К счастью, трубку взяла ты. Он положил бы трубку, если бы ее взяла не ты.

Он пришел раньше тебя. Было тепло; особенно в тех двух кварталах, которые он называл своими. Наконец-то кончились эти проклятые дожди! Над липами, над домами висела луна — милая старенькая лампа — так называл ее он. На тротуары ложился свет окон. Опавшие листья — как вытканый рисунок на блеклых коврах. У одного особнячка возле крыльца отдыхала старая

женщина в длинном летнем пальто. Сидела на венском стуле, который вынесла из дому.

Когда ты вступила в этот мир, старая женщина продолжала сидеть на своем стуле. Она подняла взгляд. Вы прошли мимо. Наверное, она смотрела вслед, пока вы не скрылись в изгибе улочки. И потом, когда вы возвращались по другой стороне, она все еще сидела у своего крыльца и слышала ваши медленные шаги. А возможно, она даже слышала, о чем вы говорили. Впрочем, говорил только он. Возможно, именно в этот момент он рассказывал, что было у Кушнера. Возможно, о своем романе. Он был возбужден и говорил, говорил.

Когда вы снова возвращались, старой женщины уже не было. Огни под ветхими абажурами в безмолвных окнах гасли, как свечи, словно кто-то неторопливо обходил улочку и задувал их.

И вы оба уже знали: сегодня случится. Вы продолжали разговор, но слышали лишь ожидание, которое каждый из вас нес теперь в себе и которое все тяжелее, мучительнее было нести.

Вас обогнал одинокий прохожий. Миновав два или три дома, он свернул во двор. Где-то в глубине двора какая-то дверь, стукнув, оборвала его шаги. Возникла та особенная тишина, которая приказала вам остановиться. На тротуарах и мостовой пятнами лежал лунный свет, но вас закрывали от него ветви старого дерева.

Твоя рука отвела назад прядь волос и замерла. Он поднес ее к своим губам. Близко, совсем близко он увидел твои глаза, наклонился к ним.

Неподалеку снова зазвучали чьи-то шаги, но ты не слышала их, вернее, ты не хотела слышать.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

I Рябинин издали заметил у подъезда редакции машину Тучинского. Это означало, что редактор должен вот-вот выйти.

Так и оказалось. Увидев Рябинина, Тучинский шагнул ему навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте! Как ездилося?

— Никаких жалоб.

— Погода была дрянная. . . Ну, отписывайтесь! Посоветуйтесь с Лесько, что и как.

— А он. . .

— Не-ет, не ушел.

— Пока?

— Остается, вообще остается.

Довольный, подмигнул Рябинину и поспешил к машине.

Толкнув дверь в кабинет ответственного секретаря, Рябинин задержался на пороге. Лесько оторвал глаза от бумаг. Натянул нижнюю губу на верхнюю, сдвинул большие клочковатые брови, а в глазах запрыгали веселые огоньки.

Рябинин понурился.

— Даже не позвонил, — пробурчал Лесько.

— Был грех, был. Правду говорят, на всякий час ума не напасешься.

— Волкову позвонил, а не мне.

— Простишь ли ты меня, мастер?!

Они рассмеялись. Уселись рядом на диван.



— Тебе кто сказал? — спросил Лесько.

— Тучинский. Только что.

Помолчали.

— Что привез? Рассказывай!..

.. В тот же день Рябинин пошел в обком к Ежнову. Не затем, чтобы заранее согласовать статью. Просто Рябинин не любил показной лихости и привык подвергать всесторонней проверке свою точку зрения. Он не мог не выяснить, на каких аргументах основывается позиция Ежнова, столь безапелляционно поддерживающего Зубка.

Аргументов не оказалось. Черноволосый, смуглолицый, неулыбчивый Ежнов слово в слово повторил доводы Зубка. И говорил Ежнов не допускающим возражения тоном. По сути, он диктовал Рябинину: об этом пишите вот так, а об этом — вот так; видно, он ничуть не сомневался, что корреспондент так и напишет.

Он был искренне изумлен, когда Рябинин высказал свою точку зрения.

— Так вы что, против установки обкома выступать собираетесь!

В этом восклицании не было вопроса; это был выговор.

.. В области тридцать тысяч коммунистов. Через своих избранников, делегатов областной партийной конференции, они называют девяносто человек: партийных и советских работников, рабочих и колхозников, хозяйственников и ученых, военнослужащих и деятелей искусства — людей, которые в силу своего политического опыта и житейской мудрости лучше, чем кто-либо, могут оценить все явления жизни и выработать единственно верное решение. Эти девяносто человек и есть обком


партии. Они избирают бюро, которому доверяют вести дело между пленумами обкома.

А в многочисленных комнатах трех этажей здания на центральной площади города работал приданный обкому исполнительный аппарат. Ежнов заведовал в нем отделом. Очевидно, в силу этого обстоятельства он уверовал в абсолютную непогрешимость и неоспоримость своих суждений.

Рябинин, как и все сотрудники редакции, часто бывал в здании обкома, знал многих работников аппарата. Те тоже знали его. До сих пор он и они хорошо понимали друг друга.

 С Ежновым Рябинин близко столкнулся впервые. . .

II Когда Рябинин приступил к статье, у него было такое ощущение, что он напишет ее за каких-нибудь два дня, не больше.

 Но он писал статью пять дней, точнее, пять суток, ибо случалось, самые интересные мысли или наиболее удачные формулировки возникали у него ночью. Он вставал, закрывал газетой настольную лампу, полагая, что таким образом оберегает покой Екатерины Ивановны, и торопливо записывал. Выключив свет, снова ложился, но через какое-то время все повторялось.

Спал он на раскладушке, круто подняв изголовье. Этим она и устраивала Рябинина: при низком изголовье ему было трудно дышать. И еще раскладушка нравилась ему тем, что ее можно было ставить где угодно, даже вплотную к столу.

На шестой день вечером Рябинин прочел написанное Екатерине Ивановне.

Стержнем статьи был конфликт Федотова и Зубка. И еще в статье была Вера Ногина, были рабочие, были те люди, на которых такими разными глазами смотрели Федотов и Зубок, из-за которых они и вступили в схватку.

Рябинин всегда читал написанное Екатерине Ивановне. Прослушав внимательно все, от первого слова до последнего, она обычно не делала никаких существенных замечаний. Екатерина Ивановна часто ловила себя на мысли, что, если бы она вдруг оказалась наделена дарованием мужа, она постаралась бы написать все точно так же. В жизни они могли о чем-то поспорить, в жизни муж мог сказать что-то опрометчивое, даже несправедливое; в запальчивости он был способен на неправильные поступки. Но когда он писал, безжалостный, беспощадный к себе, безумно щедрый на затрату сил, — было просто непонятно, необъяснимо, откуда брались в нем эти силы, эта способность работать по двадцать часов несколько суток подряд, — когда он продирался через нагромождения мыслей и слов к истине и к единственно нужному, точному слову, тогда он непременно приходил к тому, к чему пришла бы Екатерина Ивановна инстинктом и сердцем своим. Тогда он всегда был прав; и нигде, ни в чем Алексей Рябинин не был до такой степени самим собой, как в своих статьях.

Закончив писать, он спрашивал ее:

— Послушаешь, черепашка?

Она кивала.

И для нее приходили минуты высшей радости и

вознаграждения, ибо она видела, что все написанное им — это его сердце, его доброта к людям, его благородство, его подвиг. В эти минуты она любила его особенно сильно и остро; именно эти минуты раскрывали ей снова и снова, почему она так любит этого человека, со всей его изуродованной болезнью фигурой, бескровным лицом и сверляще умным, порой жестким взглядом.

Многие считали, что ее жизнь — непроходящая беда и тревоги, а она знала больше счастья, чем, может быть, все эти многие, вместе взятые.

После того как он заканчивал читать, они обычно мало говорили о написанном. Но статья служила им поводом для долгого разговора, уводящего их обоих в новые и новые области раздумий.

Так произошло и на этот раз.

Было уже довольно поздно. Екатерина Ивановна сидела на кровати, прислонившись к стене, подобрала ноги и натянув на себя одеяло. Он, одетый, то садился рядом с нею, то ходил по комнате, то останавливался у своего двухъярусного стола.

— Инспектора района помнишь, Алеша?

— Еще бы!.. Ты права: окаменелости не меняются, они просто разрушаются. Зубок неисправим... Но ведь человек, черт побери! Видимо, самое важное — заметить в себе признаки такого окаменения. И сломать. Разбить, разнести в прах!

— Наверное, сломать нетрудно, трудно заметить.

— Нет, и ломать трудно. — Задумавшись, добавил тише: — Но иначе какой же ты к чертям коммунист!

Они помолчали. Екатерина Ивановна придвинула к себе подушку; обхватила ее в раздумье, прижалась

к ней подбородком. В этой своей позе, в неярком свете, просачивающемся сквозь абажур торшера, она выглядела совсем молодой.

— И все-таки дело не только в мертвом.

Она поняла его.

— В мертвом ли, Алеша?

— Разве я сказал, что не надо бороться с последствиями культа?

— По-моему, пока на этот счет больше произносится слишком смелых слов. Ведь проблема не ограничивается одной массовой реабилитацией.

— И все-таки... все-таки созданное нами при нем и с ним — вечно.

— У нас в школе многие говорят: надо было не развенчивать его, а просто устранять ошибки.

— Как все невероятно сложно! Потому что никем не изведено. А с какой легкостью лет эдак через тридцать — пятьдесят каждый студент — да что там! — каждый старшеклассник будет отличать, что было сделано правильно, а что неправильно... Как думаешь, Нинка сдаст историю на «пять»?

— Хоть бы на «четыре».

— Сморозит что-нибудь этакое... насчет постулатов и прочее.

— Поправят.

— Но ведь и оценку снизят. Обидно, коли на то пошло.

Она глянула на него и чуть заметно улыбнулась.

...Шестая ночь была столь же беспокойной, как и пять предыдущих: Рябинин думал над заголовком. Нелзя сказать, чтобы у статьи еще не было названия. Однако ночью возник еще один вариант, за ним другой,

третий. . . Каждый казался лучше прежних, а утром Рябинин их все забраковал. «Сражение на рельсах» — этот вариант возник, когда Рябинин уже шел в редакцию. Наверное, не лучший вариант.

### III

Поскольку Рябинин не состоял в каком-либо отделе редакции, путь его статьи начинался сразу же с Атояна.

«Наместник Даля на земле» сидел в своей узенькой, вытянутой, словно кишка, комнате перед обычной стопкой рукописей. Читал он стремительно. Со стороны могло показаться, что Атоян лишь просматривает написанное. Но Атоян не только внимательно читал, он по ходу чтения сокращал и редактировал, или, как говорят газетчики, правил. Голова его делала непрерывные и короткие движения: вправо-влево, строчка за строчкой. Авторучка, странным образом зажатая между мизинцем и безымянным пальцем, нетерпеливо, словно поторапливая и без того торопливую работу глаз, нависала над рукописью и время от времени набрасывалась на лист, что-то вычеркивала, что-то вписывала. Случалось, что она перечеркивала целую страницу.

Когда Рябинин вошел, Атоян, не отрываясь от своего занятия, бросил:

— Сейчас, сейчас.

Рябинин положил статью на стол. Атоян покосился на нее, кивнул и снова склонился над стопкой рукописей.

Рябинину казалось, что статья получилась, но он волновался, оставив ее в кабинете литературного редактора.

По коридору, отдуваясь и придерживая руками два фотоаппарата, висевшие на груди, катился озабоченным колобком Костя Неживой.

— О-о, Алексей, здорово!.. Куда ездил?.. Как дома?.. Как супруга?.. Дочка-то у тебя, наверно, уж?..

— В седьмом классе!

— А что?.. Фу ты, дьявольщина, я и забыл. Как времечко-то, а! Что ты скажешь?..

Даже от его фотоаппаратов исходил запах мятных конфет.

Атоян позвонил только на следующий день:

— Зайди!

Мельком глянув на Рябинина, сдернул очки и отвернулся.

— Слушай, Алексей, ты показывал ее Валентину?

Это было неожиданно: Рябинин совсем забыл, как относится Атоян к Орсанову.

Ответил язвительно:

— Согласовать?

— Не знаю... Но мне не нравится.

— Статья?

— Перестань! Статья — блеск!

— Тогда визируй.

— Сукин сын!..

— Кто? Орсанов?

— Слушай, брось ты!

— Ага, значит, сукин сын я?

— Заткнись!

— Кто же все-таки? Ты?

Атоян надел очки и столь же стремительно снял их.

— За что он его так невзлюбил? За что?

— Вы о ком, маэстро?

— Впрочем, все ясно: зависть, черная зависть! Подлый человек. Он и тебя усла. В дождь, в холод. Не посчитался ни с чем. Сукин сын!

— Дай статью! Редакции некогда ждать, пока ты пу-  
таешься в своих эмоциях.

— Алешка, ты не знаешь Валентина.

— Не сотвори себе кумира! Отдай статью. Черт с ней, с твоей визой!

Атоян поерзал на скрипучем своем стуле, открыл ящик стола и достал статью. Не глядя на Рябина, двинул ее по столу. В верхнем углу первого листа стояло: «Ат.».

Рябинин улыбнулся:

— Платон мне друг, но истина дороже.

— Алешка, мне не нравится. . .

— Мы еще поговорим, Леон.

Он помахал рукописью и вышел.

Лесько, настороженный, насупившийся более, чем обычно, положил статью перед собой. Поправил листы, глянул на порядковый номер последней страницы — не велика ли статья? — снова поправил листы и начал читать.

Рябинин знал свою статью наизусть, и для него не было неожиданным, что, перейдя на четвертую страницу, Лесько ближе придвинулся к столу: он знал, что Рябинин был у Ежнова, а именно на четвертой странице начиналась речь о «решетке», и здесь круто расходились позиции автора статьи и заведующего транспортным отделом обкома.

Потом Лесько постоял какое-то время, склонившись над столом, натянув нижнюю губу на верхнюю и упираясь руками в бока под распахнутым пиджаком. И вдруг крупно написал на первой странице: «В набор».



— Учти, витязь, Ежнов разговаривал с Тучинским.

— Пусть.

Зазвонил телефон.

Положив трубку на рычаг, Лесько сообщил:

— Прямо телепатия какая-то — тебя Волков разыскивает.

— Взять? — Рябинин кивнул на статью.

— Обязательно.

— Волков с Ежновым на одном этаже сидели.

— Мало ли. . .

— Что ж, поглядим, чего стоит Волков.

Аккуратно засучив рукава, чтобы не испачкать манжеты белой сорочки, заместитель редактора читал гранки. Увидев в дверях Рябинина, произнес свое обычное, чуть веселое, чуть снисходительное:

— Привет, привет!

Кивнул на рукопись, которую держал Рябинин:

— Это что, ваша? . . Ну-ка, ну-ка!

Читая, Волков покачивал ногой под столом. От красиво уложенных волос его, от по-женски маленьких, с розоватыми блестящими ногтями рук, от белой сорочки и даже от костюма исходило ощущение какой-то необыкновенной, удивительной свежести. Казалось, он только-только вышел из ванны.

— Как по-разному вы пишете!

— Кто?

— Вы и Орсанов.

Рябинин выжидательно промолчал.

— Портрет Подколдовых он дал мастерски. Сочный портрет двух выроdkов. . . Скажите, газета должна этим заниматься?

— Я полагаю, в каждой статье должна быть перспектива.

— Перспектива борьбы?

— Безусловно.

Волков снова придвинул к себе гранки, берясь за самые края кончиками пальцев.

— Оставьте статью мне.

— У вас есть сомнения?

— Я прочту еще раз.

— Статью будут очень ждать там, в Ямске.

— Я прочту сегодня.

#### IV

Они встретились в тот поздний час долгого редакционного дня, когда вносится последняя поправка в последние варианты полос заголовка номера газеты, когда свет горит лишь в нескольких кабинетах, а в полуосвещенных коридорах можно встретить чаще всего лишь курьера с оттисками полос.

Рябинину не сиделось дома. Он не мог справиться со своим беспокойством и нетерпением. Ждать Рябинин не умел и часто поступал в абсолютном несоответствии со здравым смыслом. Трехминутное ожидание трамвая на остановке было ему невмоготу, и он шел пешком, хотя заведомо знал, что трамвай обгонит его.

Конечно, он мог спросить о судьбе статьи у Лесько по телефону. Но телефон — изобретение для практичных людей. Те же, чьи поступки в значительной мере руководят чувства, предпочитают его услугам личного общения.

У Орсанова не было в редакции постоянного, закреп-

ленного за ним стола. Писал он главным образом дома. В редакцию приходил в самое различное время, а в случае необходимости занимал любой временно свободный стол.

Хотя его совсем нельзя было назвать замкнутым человеком, как-то так получалось, что он неизменно держал сотрудников редакции на некотором отдалении от себя. Орсанов очень умело и незаметно соблюдал эту дистанцию, и, возможно, поэтому ореол исключительности, необыкновенности, которым было окружено его имя в городе, сохранялся даже в журналистской среде.

Рябинин был у Лесько — тот сказал, что пока ему ничего не известно о судьбе статьи, — когда Орсанов появился в дверях. Лесько спешил в типографию, и, ответив обычной своей скупой, озабоченной, но все-таки достаточно приветливой улыбкой на улыбку Орсанова, он оставил спецкоров одних.

— Вольтер сказал: работа гонит от нас три больших зла — скуку, порок и нужду. — Орсанов подвигал плечами, разминая их: видимо, он долго просидел за письменным столом.

Он был без пиджака, в темно-сером, вязанном из прекрасной шерсти свитере с отложным воротником. Галстука и белой сорочки Орсанов никогда не носил. На нем всегда было что-то такое, что редко встретишь на ком-нибудь в городе: интересное, оригинальное и отнюдь не вычурное. При всем том хороший вкус сочетался у него с немного претенциозной, но милой неряшливостью: рукав обязательно припудрен папиросным пеплом; из кармана небрежно торчит угол платка; туфли не то чтобы запущенные, но как-то деликатно напоми-

нающие о том, что их надо бы почистить, да хозяин этого не замечает или ему недосуг; мягкие русые волосы хотя и не взлохмачены, как у Лесько, однако прическа всегда в некотором беспорядке. Такой человек, наверное, вызывал у женщин острое желание поухаживать за его костюмом, за его прической, вообще что-то сделать для него.

— Над чем работаете? — спросил Рябинин.

— Пытаюсь написать рецензию. Премьера у нас в драматическом.

Орсанов сел против Рябинина за маленький столик, приставленный боком к обширному письменному столу ответственного секретаря. Достал из заднего кармана брюк коробку папирос. Он много курил, рассеянно пренебрегая при этом пепельницей, и сорил пеплом вокруг себя и на себя.

— Что привезли из Ямскова? — спросил Орсанов с очень мягкой, неторопливой улыбкой.

Кажется, они впервые беседовали наедине, да еще в такой обстановке: поздний час, тишина, неяркий свет настольной лампы.

На вопрос Орсанова Рябинин ответил вопросом:

— Какого вы мнения о Зубке?

— О Зубке?.. Да, собственно, никакого. Зачем мне Зубок? Я писал о Подколдевых. Меня заинтересовала история этих двух. Прежде всего история падения Михаила Подколдева. Психологический очерк. Если хотите, психологический этюд, Алексей Александрович.

Он говорил легко, не затрачивая ни малейших усилий на поиски слов. Это была свободно, изящно льющаяся речь. Наверное, он отдыхал, когда говорил, пожалуй, наслаждался, когда говорил. Держа чуть поодаль

от себя папиросу, легонько постукивал по ней пальцем. Пепел сыпался ему на колени, на столик, на пол.

— Коли на то пошло, — заметил Рябинин, — всякий очерк, всякая статья о людях содержит в себе психологический анализ.

— Очень возможно... Каков же оказался ваш Зубок... на зубок? Вы раскусили этот орешек... и скорлупки бьют в мою сторону?

— Выходит, вы читали, что я привез из Ямскова?

— Избави бог. А разве вы уже отписались?

— Статья у Волкова.

«А ты уже знаешь о статье, — подумал Рябинин. — Похоже, Волков говорил с тобой».

— Нашему брату газетчику, — продолжал Орсанов, — нечего было бы делать, если бы всякий смертный сразу показывал свое истинное лицо. Некоторые утверждают, дорогой Алексей Александрович, что человек вообще никогда не бывает на людях самим собой. Помните, у Франсуа Мориака: никто не показывает своего лица, большинство людей обезьянничает, рисуется, изображает возвышенные чувства или, само того не ведая, подражает литературным героям.

— Вы что же, согласны с этим?... Больно уж смелое обобщение... И потом, что плохого, если человек старается походить на литературного героя? Важно, что за герой.

На лице Орсанова была все та же мягкая улыбка; он кивал чуть-чуть Рябинину: то ли в знак согласия, то ли в знак внимания, однако глаза его сразу поскущнели.

Улучив момент, прервал Рябинина:

— Я только цитирую «Клубок змей», Алексей Александрович.

— У вас завидная память. Но давайте вернемся к Зубку.

— Зачем? Я писал о Подколдевых.

— Подколдевы вовсе не главное. Главное — Зубок, — настаивал Рябинин.

— А не лучше ли продолжить наши философские упражнения? Хотя бы в вопросе о двуличии сына человеческого... Насколько я понимаю, перед вами была поставлена задача разделаться со мной, вернее, с моей статьей.

— Такой задачи никто не ставил.

— Буду с вами откровенен: у меня сложилось впечатление, что Федор Вениаминович Волков по непонятным причинам не расположен ко мне.

— Чего не знаю, того не знаю. Я столько времени отсутствовал.

— Именно поэтому я и рассказываю вам. Едва на столе Федора Вениаминовича появляется что-нибудь мое, он начинает крутить носом.

— Мы всегда недовольны редакторами.

— О-о нет, тут особый случай. Волков даже попросил нашу библиотеку сделать для него подборку всех моих опусов за год.

— Это, пожалуй, лестно.

— Вы думаете?... А ведь придет время, когда каждый умеющий писать будет сам себе редактором.

— Не скоро.

— Или хотя бы каждый наделенный правом редактирования будет уметь писать сам.

— Волков не умеет?

— Пока из-под его пера вышли две-три передовицы. Точнее, проекты передовых. Леон перелопачивает и пере-

писывает все от первой строчки до последней. От Волкова в них ничего не оставалось. Представляю, что бы он наработал, доведись ему, как нам с вами, — в командировку. Святых выносите!.. Какой головокружительный взлет: инженер-экономист на заводе, руководитель политкружка, внештатный лектор горкома, заведующий сектором обкома и вот — заместитель редактора областной газеты. Сказка!

Орсанов зажег погасшую папироску.

— Значит, Волков не ставил перед вами задачи перечеркнуть меня?

— А вы согласны, что своей статьей я перечеркиваю вашу?

— Объективно получается так.

— Но вы же не знаете, что я написал! Или Волков уже говорил с вами?

— Волков со мной? Не-ет!.. Просто у меня есть основания догадываться.

— Не знаю, какие там у вас основания. — Рябинин откашлялся. — Но коли на то пошло, да, я считаю вашу статью плохой. Коли на то пошло, вредной. Но разобрался я в ней уже в Ямске. Обстановка заставила, и люди подсказали. Не Волков, а обстановка и люди. Главная беда не в том, что двум грязным типам газета отвела почти полных три колонки, хотя красная цена Подколдевым — пятьдесят строк информации из зала суда. Журналист — деятель политический. Если хотите, деятель государственный... .

— Алексей Александрович, голубчик, не надо! Поверьте, я тоже достаточно посвящен в эти постулаты! Вполне достаточно.

Орсанов встал несколько внезапно; обычно движе-

ния его были неторопливы и мягки, как и его речь, как и его улыбка. Раздавил папироску в пепельнице, механически отряхнул испачканный низ свитера, так, впрочем, и не очистив его.

— С вашего позволения пойду заканчивать рецензию. — Он улыбнулся Рябинину. — Завтра сдавать.

...Вернулся из типографии Лесько.

— Статья-то, оказывается, в наборе. Волков сам отправил.

— Фу, черт, гора с плеч! .. Сократил?

— Пустяки. Обычно он рубит не стеснясь.

— Ну, это он со мной так для первого раза.

— Возможно.

— Смягчил?

— Непохоже. . .

— Кирилл, ты рассказывал о статье Орсанову?

— Не успел, а что?

— По-моему, он от кого-то уже знает.

— Все узнают.

— Я не о том. Кто-то явно спешил.

— Статью успели прочесть Леон, Волков и я.

— Значит, Леон?

— Не может быть. Он уважает вас обоих.

— Положим, на Орсанова-то он взирает, как на Монблан.

— Позвони Леону домой.

— И позвоню, коли на то пошло.

Выслушав, Атоян взревел:

— Ты за кого меня принимаешь? Негодяй! Оба вы с Кириллом — негодяи! Сукины дети вы! Еще и звонят мне.

Положил трубку.



— Остынет, позвонит сам, — сказал Лесько. — Конечно, Леон вне подозрений.

— Так кто же?

— Тебе что, больше заняться нечем?

— Действительно, с чего это я? . .

— Стареешь, наверно. . . Ты подожди в литавры бить, витязь.

— О чем притча сия?

— Есть на свете Ежнов.

— Э-э, не пужай, боярин! Допреж обвыклись. Давно ведомо: на ком едут, того и бьют!

— Учти все-таки. . . Как Нина?

— Сегодня сдала. Четыре. В итоге семнадцать баллов.

— Считай, что студентка.

Спускаясь по лестнице, Рябинин увидел вошедшего в редакцию Волкова. Было около девяти вечера. По вестибюлю, расстегивая на ходу пояс короткого пальто, шел утомленный, озабоченный, напряженно обдумывающий что-то человек. Молодость Волкова уже не бросалась в глаза. И даже фигурой, несколько расслабившейся и потяжелевшей, он не походил на того Волкова, с которым Рябинину доводилось встречаться до сих пор. И подумалось: нет, не просто ему, новичку, здесь, в редакции. Скоро девять, а Волков, очевидно, уйдет в полночь или за полночь. И так изо дня в день.

— Добрый вечер! — Рябинин произнес это вполголоса; и он, пожалуй, не обиделся бы, если бы Волков не ответил, прошел мимо, все так же озабоченно думая о чем-то.

— А-а! . . Привет, привет! — Волков остановился. — Статью я сдал в набор.

— Спасибо! Мне уже сказали.

— Ваш Федотов не идет у меня из головы. Вот истинный героизм! Иной отличится в бою, а на такое, пожалуй, окажется слабоват духом... Вы довольны названием статьи?

— Признаться, не очень.

— Я вот думал сейчас, доро́гой. Надо бы что-то серьезнее. Жестче, что ли?.. Что, если назвать «Тяжесть»?

— «Тяжесть»?

— Да. Коротко. «Тяжесть».

— Ну что ж... «Тяжесть»... Проблема тяжести.

— Оставьте как вариант. Может быть, найдете что-нибудь лучшее... Вы не сердитесь, что я так сразу услали вас в командировку?

— Наоборот... Совсем наоборот.

— Честно?

— Абсолютно. Все это нужно не только газете, но и мне... Коли на то пошло, и моему самочувствию.

— Я тоже так подумал. Правда, не очень был уверен...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

I Только теперь, по дороге домой, Рябинин впервые почувствовал, что статья закончена, что он свободен.

Дома ли Нина?.. Скорее всего, нет. Экзамен сдан.

Однажды, это было в прошлом году, когда Нина училась еще в дневной школе, в десятом классе, мать, не выдержав, спросила, почему она не говорит, куда идет.

— Ты не доверяешь мне? — ответила дочь.

— Нет, доверяю.

— Зачем же спрашиваешь?

— Но я должна знать. Мало ли что может случиться!

— Случиться — с кем?

— С тобой, конечно.

— Выходит, если ты будешь знать, где я, со мной ничего не случится. Твоя осведомленность — панацея от всех бед?

— Ты следуешь лишь логике разума.

— А разве есть какая-то иная логика?

— Да. Логика чувств.

Логика родительских чувств... Наверное, во все времена молодость мало считалась с ней. Кира, жена Лесько, удивительно точно сказала как-то: три богатства человек получает, не затрачивая никаких усилий, даром, — любовь родителей, молодость и красоту; послед-

нее он начинает ценить рано, второе — поздно, первое — слишком поздно.

Нина почему-то представилась Рябинину маленькой. Вспомнилось совсем обычное утро совсем обычного дня. Нина схватила портфельчик, чтобы бежать в школу. Коричневое форменное платье, черный фартук; на груди под белым воротничком алеет галстук. От Нины пахнет свежестью утра, свежестью воды, которой она умывалась. Ее лицо, и прямой пробор на маленькой голове, и косички, и черные банты — все это единственное и самое детское из всего детского в мире... «Я пошла. До свидания, папуля!» Она обнимает его за шею свободной рукой...

Казалось, он сейчас почувствовал легкое, быстрое, нежное прикосновение ее губ, почувствовал, наверное, острее и сильнее, чем чувствовал тогда.

И новое воспоминание... Они обедали. Да, да, это, конечно, было за обедом. Нина всегда рассказывала за столом, что было в школе. Ели суп, и ложка в руке Нины выглядела несоразмерно большой и тяжелой. А девочка сказала вдруг: «Можете себе вообразить...» Так говорят взрослые: «Можете себе вообразить...» И потом в рассказе ее, совсем детском, мелькнуло: «собственно говоря», «абсолютно»... И вдруг в голосе Нины... Нет, это было, наверное, не в тот раз. Не могло же быть столько знаменательного сразу. Это было через год-полтора... Девочка, рассказывая что-то, рассмеялась, и вдруг в голосе ее, в смехе прозвучало совсем новое, заставившее отца замереть, — красивые, бархатисто-низкие нотки. В девочке угадывалась девушка.

Сейчас он слышал, как это было, слышал совершенно явственно, явственнее, чем тогда: будто свободно и

бойко струящийся ручей набежал на неожиданные препятствия и, стремительно одолевая их, зазвучал ликующе и победно.

Потом Рябинину вспомнилось то, что он открыл много лет назад, может быть даже до того, как Нина пошла в школу. Занятая чем-то, девочка повернулась к отцу, взглянула на него, и тогда на ничтожно короткое мгновение отчетливо, разительно, как в яркой вспышке света, он увидел вдруг свою мать. Она умерла давно, Нина даже не видела ее никогда. И в ней, в Нине, ожила на мгновение его мать, ожила и исчезла. Отец не успел уловить, в чем было это потрясшее его сходство: то ли во взгляде, то ли в чертах лица, то ли в каком-то движении девочки. Но оно было, это поразительное сходство. . . И потом это повторялось. Повторяется и теперь. В Нине живет та, давно умершая, та, ставшая особенно дорогой Рябинину и особенно понятной ему только сейчас, в пору его зрелости.

Он занес как-то в свой блокнот фразу из рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»: «. . .Люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти». Сам Рябинин не дивился ей, не призывал себя не бояться ее и не исповедовал никакой утешающей философии, хотя бы наподобие той, что в различных вариантах встречается в литературе: человек не умирает, потому что он материализуется в созданном им. Нет, со смертью для человека кончается все. Но были моменты, когда Рябинину представлялось, как уже после его смерти Нина идет по земле, живет, радуется; в такие моменты собственная жизнь становилась для него несущественной и маловажной; существенно и важно, что есть и будет Нина. И в этой способности мысленно

растворить себя в жизни Нины было что-то, что давало Рябинину неясное, но бесконечно счастливое ощущение своего бессмертия.

...Мимо, сворачивая с одной улицы на другую, проходил трамвай. Рябинин остановился, пережидая. Ниточка воспоминаний оборвалась. Бездумно глядя на трамвай, Рябинин произнес почему-то: «Постулаты...» Трамвай прошел, Рябинин побрел дальше, пересекая улицу, и повторил: «Постулаты». Вспомнился Орсанов: «Алексей Александрович, голубчик... я тоже достаточно посвящен в эти постулаты». Экое словечко! Его редко услышишь. Редко не редко, а Нина тоже как-то произнесла его: «И прочие постулаты». Она произнесла, загнувшись: «И прочие... постулаты».

Вспомнилось, когда и как это было.

Какое совпадение!.. «Алексей Александрович, голубчик, я тоже достаточно посвящен в эти постулаты...»

А может быть, не случайность?

Не потому ли Нина проявила такой интерес к этой поездке?

Ересь! И думать нечего! Ересь, ересь!

...«Вы раскусили этот орешек... и скорлупки бьют в мою сторону?»; «Выходит, вы читали, что я привез из Ямскова?»; «В глаза не видел»...

Но ведь Нина читала статью! Да, да, вчера. Читала, читала!

Перед обедом он пошел прогуляться, и, когда вернулся, Нина читала рукопись. Он обрадовался тогда: дочь читает его работу в рукописи! А прежде Нина и напечатанное-то пропускала. Он обрадовался!..

Так вот откуда ее интерес к его поездке в Ямсков! Ересь, ересь...

Нет, все может быть. Все, все может быть!

Теперь Рябинин хотел лишь одного: скорее увидеть жену. Возможно, он услышит от Кати какие-то слова, от которых его предположение сразу же рассыплется, как несусветный вздор. Если бы случилось так! Если бы случилось!..

Только почувствовав, что совсем задыхается в спешке, он вспомнил о такси.

Шофер сам открыл дверцу и, встревоженный, готовый помочь, весь подался навстречу пассажиру. «Хорошо же, должно быть, я выгляжу», — мелькнуло в голове Рябинина.

## II

У Нины были гости: девушка и два молодых человека. Все трое, видимо, постарше Нины.

Сидели у включенного телевизора, но просматривали какой-то иллюстрированный журнал. При появлении Рябинина один из молодых людей встал, второй, приподнявшись, поклонился и, снова опустившись на стул, как-то заученно и лениво приобнял девушку, положив на ее плечи руку. Рябинин ответил общим поклоном и прошел во вторую половину комнаты.

Он несколько успокоился оттого, что застал в доме гостей.

Екатерина Ивановна была на работе. Не зажигая света, Рябинин прилег на диван против открытой двери.

Молодежь продолжала просматривать журнал, то перебрасываясь скупыми замечаниями, то вдруг возбуждаясь и вступая в шумный обмен мнениями.

Рябинин различал лишь отдельные фразы, — мешал

включенный телевизор, — «Отлично!», «Я считаю его гениальным...», «Мане — это не Моне...», «Знаменитый гвоздь в «Черном обелиске...», «В Штатах принято...», «Ирвинг Стоун прав...», «У нас в Союзе не издавалось...», «Скучища, как у Льва Толстого...»

Он никогда не сказал бы «в Штатах», сказал бы «в США»; и уж конечно никогда не употребил бы это урезанное — «у нас в Союзе»... Ремарк ему наскучил, и он перестал читать его книги, ибо терпеть не мог ничего унылого, лишнего борьбы и ясного социального идеала. И, наоборот, огорчался, когда молодые с кощунственной небрежностью отзывались о Льве Толстом, хотя и верил, точнее, хотел верить, что они просто еще не успели понять, какой это величайший в мире поток мудрости и красоты — Лев Толстой.

Он перевел взгляд на телевизор. В маленьком прямоугольнике экрана — группа людей. Двумя рядами. Впереди сидели женщины, за ними стояли мужчины. Седые волосы, посверкивающие очки, опершиеся на спинки стульев стариковские руки.

Рябинин узнал их. Со многими из них ему доводилось встречаться, с некоторыми много раз. О двух он писал.

Они пели:

Наш враг над тобой не глумился,  
Кругом тебя были свои...  
Мы сами, родимый, закрыли  
Орлиные очи твои...

Он уже слышал от кого-то, что старые большевики города решили создать хор и выступить по телевидению во время передач для молодежи.

Значит, они осуществили задуманное.



Их голоса дрожали потому, что песни волновали поющих, и еще потому, что эти люди ничего не умели делать равнодушно.

«А тем наплевать. Листают журнал...» Рябинин зло покосился на дочь. И будто обжегся: Нина, выпрямившись, смотрела на экран телевизора. Сидящий рядом с ней молодой человек тоже забыл о журнале.

Двое слушали поющих, двое продолжали листать журнал.

Так длилось недолго — журнал был просмотрен, и девушка, державшая его, повернулась к телевизору. Послушав чуть, простонала:

— О господи!

Ее приятель спросил:

— Что там по другой программе?

— Сейчас, — рассеянно бросила Нина. И что-то непонятное буркнул ее сосед.

Хор оставался на экране.

— Песня политкаторжан «Слушай», — прозвучал голос диктора.

— О господи!

— Кому нужны эти раскопки?

— ...Если мыслить на уровне табуретки. — Это вставил сосед Нины.

— А ты растешь. Скоро поднимешься до уровня самовара.

— Нинок, переключи! — Девушка крутанула в воздухе пальчиком. — Переверни пластинку.

Нина не ответила.

...Как дело измены, как совесть тирана,  
Осенняя ночка черна;  
Чернее той ночи...

Двое, болтая о чем-то, расхохотались. И снова что-то сказал им сосед Нины. А Нина снова промолчала. Она лишь сделала короткое, резкое движение головой, словно откидывала назад волосы.

О-о, Рябинину хорошо было известно это своевольное и гордое движение, как хорошо была известна та вызывающе прямая поза, в которой застыла Нина. «Еще немного, и она выставит их...» Впрочем, Рябинину сейчас было уже неважно, выставит или не выставит.

Те двое поднялись сами. Помедлив, поднялась и Нина: нельзя было не проводить.

Теперь Рябинин смотрел на оставшегося. «Ну встань! Покажись, какой ты!...» Но молодой человек продолжал смотреть на экран телевизора.

Нина вернулась быстро, проводив лишь до двери. Конечно, она спешила: не просто хотела скорее отделаться от тех двоих, а спешила к другу.

Они молча досмотрели передачу. Гость встал. Но Рябинин ясно видел, как ему не хочется уходить: он мешкал. И Рябинину нравились его скованность, его смущение.

Они направились к двери.

Если Нина пойдет провожать гостя, можно будет глянуть на них в окно. Какой отец удержался бы от этого?

«Постулаты, постулаты!» — передразнивая себя и внутренне ликуя, почти вслух произнес Рябинин.

Скрипнула дверь — Нина вернулась скоро, так же скоро, как и в первый раз, когда проводила тех двоих; и Рябинин только сейчас почувствовал, насколько сильно ему хотелось, чтобы было иначе.

— Нина!

- Да, папа.
- Она остановилась перед ним в дверях.
- Он что, тоже держал экзамен в университет?.. — спросил отец первое пришедшее в голову.
- Кто?
- Ну вот... который только ушел.
- Да, мы вместе... Но познакомились еще на работе.
- А те двое?
- Она работает. Тоже там, в Книготорге. Окончила библиотечный техникум. А он в медицинском институте, перешел на пятый курс.
- Они любят друг друга?.. Хотя что я... конечно, сразу видно.
- Да, они не скрывают, что... близки.
- Зачем скрывать?.. Правда, мне не по душе, как они держатся... Объятия у всех на виду... Для постоянных неприятно. Но, пожалуй, еще более грустно.
- Почему?
- Выставлять любовь напоказ — мне кажется, не очень дорожить ею... Почему-то представляется дерево, открытое всем ветрам. Быстро осыплются листья. В конце концов ничего не останется, одни голые сучья.
- Дорогое надо хранить при себе, я понимаю.
- Они женаты?
- Что ты!
- Чему ты удивилась?
- У них совсем другой взгляд.
- Другой? Какой же?
- Жениться не обязательно.
- Как? Вообще не обязательно? Долой брак?!
- Нет, не вообще, конечно.

- Но считается, что все дозволено и без брака?
- Сейчас на` многое иной взгляд.. Новый стиль жизни.
- Стиль! Это уже стало стилем?
- Становится.
- Ты говоришь чудовищные вещи, Нина!.. Это что же, как... как в романах Ремарка?
- Почему вдруг именно Ремарка?
- Да, да, ты права. Вообще там... Но у нас свои нравственные традиции. Свои, Нина! И их нужно защищать.
- Но если традиции нуждаются в защите, значит, они сами слабы? Что слабо, то плохо.
- В защите нуждается все. Даже человечество в целом, хотя, казалось бы, оно всемогуще.
- После паузы он спросил:
- И что... эта пара и ты, вы дружите?
- Бывает, встречаемся. А дружба? Пожалуй, нет... Но ты не суди о них с первого раза. Они не какие-нибудь... Он прекрасно учится. Про него говорят: надежда курса. Много читают, любят искусство... Не какие-нибудь пустые стилиаги.
- Что стилиаги! Примитив... Тут посерьезнее.
- Это далеко не самое скверное.
- Но все-таки скверное?
- Оставь их, папа! В конце концов, они случайно зашли ко мне.
- Ладно, не будем о них... А что же самое скверное?
- Ты знаешь. Мы говорили.

Отец сделал привычное движение — провел распрямыми ладонями у пояса, собираясь опустить их в кар-

маны пиджака. Но пиджака сейчас на нем не было, и руки беспрепятственно скользнули вниз. Откашлявшись — это было тоже рефлекторно, потому что в минуты большого волнения у него всегда садился голос, — спросил:

— Кто твой бог, Нина?

— Честность.

— Хорошо сказано. Очень хорошо, Нина!.. Но если на то пошло, кто вырастил тебя такой?

— Все равно кругом много скверного, подлого. Хотя бы этот Зубок, о котором ты написал. Он чудовище!

— Согласен.

— А Подколдевы! Что им Родина! Что им все идеи, что им социализм, коммунизм! Старший продаст все это за дом, за корову, за свинью. А младший — за одну бутылку водки. Или Манцев. Один Манцев чего стоит! И вся его компания. Оглядишься, что делается. А ведь прошло чуть ли не полвека.

— Касьян на что ни взглянет — все вянет... Откуда ты так много знаешь о Подколдевых?

— Была статья...

— Можно позавидовать Орсанову, ты здорово запомнила ее.

— Ну запомнила... И что?

— Ничего. — Он хорошо владел собой. — Продолжай!

Нина пожала плечами.

Отец удивился:

— И это все?.. А что же дальше? Что дальше, Нина?.. Или ты не доверяешь мне?

— Нет, почему же...

— Так говори!

Что-то похожее на растерянность появилось на ее лице.

Он заговорил снова:

— Что такое коммунизм, Нина?

— Не надо азбучных истин! Прошу, папа, не надо!

— И все-таки позволь мне. Возможно, не повторюсь.

По-моему, коммунизм — это прежде всего вера в человека. . . Ты не согласна?

Она вдруг вспыхнула.

— Ты считаешь, что во мне вообще нет веры, да? Ты так считаешь, да? Что я вообще не имею ничего своего, только болтаю всякое, слушаю всех — и ничего своего?.. Нет, я верю. Но я верю только в борцов. В тех, кто ничего не хочет для себя лично. Как старые большевики. Они шли на каторгу, на пытку, на смерть — и все ради других, ради людей, ради большой идеи. В этих я верю всегда, всегда! С самого детства!..

Последние слова она произнесла уже при матери; Екатерина Ивановна остановилась в первой половине комнаты.

Отец поднялся.

— Я тоже. Я тоже, девочка моя. И скажу, не хвастаясь: всю жизнь стремился быть похожим на них.

Какое-то время все трое стояли недвижимо и молча, и казалось, в комнате все еще звучал сиплый, торжественный голос отца.

Нина прошла к своему столу.

— Мама, как на улице?

— Хорошо. Погода прямо на редкость. Прохладно только.

— Я прогуляюсь немногò... .

— Что ж... конечно, конечно... .

Екатерина Ивановна поставила на стол сумку, сняла пальто — все это медленно и молча. Но едва захлопнулась наружная дверь, Екатерина Ивановна бросилась к мужу:

— Что тут у вас было? Что? ..

### III

Гранки — это еще не газетный лист. Что делает редактор? Не задержит ли статью? Не снимет ли ее со сверстанной полосы? Не сократит ли? Не сгладит ли острые углы? Не вздумает ли перекраивать ее, да так, что, кажется, возьми он нож и начни резать твоё тело — и то легче снести.

Нет, от гранок до газеты еще далеко.

И все-таки гранки всегда были для Рябинына праздником. Глубоко личным. Невидимым постороннему взору, скромным, молчаливым праздником. Что там ни будет дальше, а статья — вот она, готовая, цельная, твоя, выстраданная, пережитая. Вся такая, какой ты хотел ее. И она набрана, она начала свою жизнь.

Утром, когда Рябинин пришел в редакцию, гранки статьи лежали на его двухъярусном столе. По заведенному в редакции порядку их принесла рассыльная.

Рябинин читал долго, не жалея времени; он мог позволить себе эту роскошь. Не надеясь на корректоров, исправил все опечатки, проставил все пропущенные линотипистом знаки препинания. Тщательно выписывая каждую букву, внес на поля поправки, очень незначи-

тельные, потому что сдавал статьи, что называется, вылизанными.

Потом, продолжая переживать свой тайный праздник, понес гранки к Лесько. По дороге встретил Атояна. Тот бросил угрюмо:

— Здравствуй, Алексей!

— Пошто не весел, боярин?

Атоян будто не слышал вопроса. Кивнул на гранки:

— Набрали? Поздравляю! — И пошел дальше.

Было непохоже, что он сердился на него, Рябинина. Атоян не умел молчать и дуться. Залпом выплевывал все, что думает, — огнем! Нет, тут что-то не то.

Лесько сидел над макетом второй полосы послезавтрашнего номера. Низ ее был отчеркнут — подвал на шесть колонок. В заголовке подвала значилось: «Тяжесть».

— Премного благодарен! — Рябинин согнулся в низком шутейном поклоне.

Лесько показал на пачку писем, лежавших отдельно, на краю стола.

— Возьми! Это все по быту: ателье, мастерские и прочее.

— Давно пора.

— Посмотри! Возможно, попросим целую полосу — письма читателей.

В середине дня, когда Рябинин заканчивал чтение писем, к нему заглянула секретарь редактора.

— Планерка по номеру у Волкова, в четыре.

В четверть пятого Волков закрыл планерку. Вторая полоса послезавтрашнего номера была утверждена.



Рябинин вернулся к себе. И тогда как раз наступило время позвонить Екатерине Ивановне.

Они условились: сегодня за обедом Екатерина Ивановна поговорит с Ниной. Мать и дочь будут одни. Потом Екатерина Ивановна уйдет в школу, и он позвонит ей туда.

Он набрал номер. Екатерину Ивановну позвали к телефону, но она сказала мужу торопливо:

— Я позвоню тебе сама.

Он понял: неудобно говорить по этому телефону. Значит, ей что-то удалось.

Так оно и оказалось.

— ...Пока не очень многое. Она больше отмалчивалась. Но похоже, очень похоже, что ты прав.

— Ну и дела! .. Что ж теперь?

— Больше терпения, родной. Постарайся настроиться на философский лад: жизнь есть жизнь и все такое.

— Черт побери, но ему под сорок! Наваждение какое-то!

— Пройдет, пройдет! Я просто не допускаю мысли. Девчонка, что ты хочешь.

— В голове не укладывается!

— Еще не исключено, что мы ошибаемся.

— Ошибаемся?! Нет. Теперь ясно вижу, что нет... Я возьму этого прохвоста за горло!

— С ума сошел! Ни в коем случае. Ничего не предпринимай. Ничего, слышишь!

— Меня будто кипятком ошпарило, а я и крикнуть не могу?

— А как же я? .. Обещай мне! Обещай, слышишь!

— Ладно. . .

#### IV

Но он не сдержал обещания. Не смог.

...Орсанов жил на лучшей, красивейшей улице города — широком и прямом, как по шнуру отстроенном Комсомольском проспекте. Из прежних карликовых пропыленных домов на проспекте не осталось ни одного; старой была только липовая аллея, — она вытянулась посредине проспекта на всю его многоквартирную длину. Часть лип посадили еще в начале века, часть в конце двадцатых годов. Сейчас Рябинин шел там, где росли именно эти молодые деревья.

Почти в такую же вот осеннюю пору — шутка сказать, более чем тридцать лет назад, а кажется, совсем недавно, — Рябинин приходил сюда в пионерском строю, чтобы сажать деревья. По обе стороны от сквера тянулась тогда булыжная мостовая, избитая и тесная: две извозчицьи пролетки или две крестьянских телеги могли разминуться, но случись проехать возу с сеном — и уже нет места ни встречным, ни обгоняющим.

Вряд ли думалось в те дни, что когда-нибудь не станет ни булыжной мостовой, ни извозчицьих пролеток, ни медлительных возов с сеном. И не узнать сейчас, какие из этих рослых лип посадил он, Рябинин. Помнится, работал его отряд против бакалейной лавки. (Помещалась она в доме с полуподвалом, внизу, в земле, окна — на уровне тротуара, железная лестница спускалась в двери, как в окоп.) Но попробуй определи в точности, где была

эта лавка, если, начисто смыв всю старину, течет сейчас здесь асфальтовая река — мостовая. А за ней — на весь квартал — восьмизэтажный дом; на первом этаже — «Гастроном», кафе, парикмахерская. . .

Орсанов получил квартиру в этом доме. Возможно, окна ее как раз против лип, посаженных Рябининым. Рябинин повернул с аллеи к дому.

Он не обманывал Екатерину Ивановну, когда обещал ей по телефону ничего не предпринимать: в тот момент верил, что сдержит слово. Но уже через полчаса он позвонил Орсанову домой и сказал, что хочет видеть его.

— Бога ради! — ответил тот. — Где?

— Мне все равно.

— В таком случае, если вам не трудно. . . сейчас я один дома.

— Я приду.

По телефону Орсанов рассказал, где именно лучше свернуть с аллеи.

Орсанов встретил Рябина свою мягкой, медлительной, чуточку усталой улыбкой. Помог раздеться.

— Что ж, прошу в мою берлогу, то бишь в кабинет.

Они пошли коридорчиком. Было тихо, покойно — непривычно для Рябина, всю жизнь прожившего в общей квартире.

Огромное окно кабинета — необычное, фонарем выступающее на улицу, — смотрело на вершины лип. У окна в углублении стояли два кресла. Хозяин указал на них.

Чтобы как-то заполнить паузу, Орсанов взял с журнального столика блокнот, полистал его.

— Любопытно! Авторы проекта нового речного вокзала — Миленький, Белый, Куц, Хвостик. Каково соче-

тание, а?.. Проект выставлен на обозрение у нас тут, в витрине «Гастронома». Не видели?

— Не успел.

— А недавно я слышал по радио: Альфред и Элеонора Лаптевы. Или такие фамилии: Подыминогин, Согрешилин, Великанчик... Великанчик! Прелесть!

Он взял с журнального столика папиросу, размял ее кончиками пальцев. Табачные крошки посыпались на джемпер.

— Смотрели премьеру в драматическом?

— Нет еще.

— Сдал сегодня рецензию. Тяжело писалось... Инженеры толкуют о сопротивлении материала. Знали бы они, какое сопротивление материала приходится одолевать нам!.. На что вы затрачиваете больше всего времени, когда пишете?

— Ясность мысли.

— А поиски слова?

— Я ищу не слова, а ясность мысли. Фраза — кирпич. Будет ясность мысли — получишь кирпич, неясна мысль — получишь песок.

— Хм-м... какая-то слишком холодная технология. Нужны и слова и фразы, которые не несут большой смысловой нагрузки, но зато придают статье эмоциональный накал.

Рябинин откашлялся.

— Вы не спросили, зачем я пришел.

Орсанов зажег спичку. Но не прикурил.

— Слушаю вас, Алексей Александрович.

— Я не мог не прийти. Как только узнал, не мог...

— Что же вы узнали? — Он неторопливо загасил спичку. — Что именно, Алексей Александрович?

Голос Орсанова звучал искренне, хотя в тоне его можно было бы уловить некий иронический, едва ли не издевательский оттенок.

Когда там, в редакции, после телефонного разговора с Екатериной Ивановной Рябинин, распалившись, вступил в мысленный бой, противник вел себя совсем иначе; он вел себя так, как этого хотелось Рябину, потому что это был воображаемый противник.

Именно противник. Там, в редакции, вспомнилось все, что было до больницы и в больнице. И прежде всего то утро, когда совсем рядом зазял обрыв — край жизни, последняя черта. Вспомнилось все... «Постулаты»! Глупенькая, ослепленная, она вторит, как магнитофонная лента.

Именно противник... Там, в редакции, вступив в мысленный бой, Рябинин с легкостью выиграл его. О-о, как великолепно разделался он там с Орсановым!

Теперь была реальность: орсановский домашний кабинет, эти низкие кресла, сам Орсанов, корректный, неколебимо спокойный, коробка спичек, вращающаяся в его неторопливых пальцах... Орсанов может сколько угодно вращать ее и сколько угодно уходить от прямого разговора. От любого разговора вообще, ибо он, Рябинин, ничем не вооружен, кроме своих предположений. Ничем!

Какая глупая горячность! И какая наивность: считать, что другой поведет себя так же, как повел бы себя ты на его месте. Впрочем, все ересь: разве мог бы ты оказаться на месте Орсанова? Все, все глупо! Глупо и ненужно! Глупо и ненужно...

Но Рябинин был уже не в силах уйти ни с чем.

Он откашлялся.

— У вас есть дети, Орсанов?

— Нет. Но я был куда более счастлив, если бы мог сказать «да».

— У меня дочь...

Орсанов кивнул.

— У меня дочь, вы знаете.

Орсанов чиркнул новой спичкой о коробок, глянул на маленькое тревожное пламя.

— Алексей Александрович, дорогой! — Он улыбнулся особенно мягко и особенно грустно. — Вы пришли, потому что верили, что я буду искренен? Так?

— Так.

— Значит, вы доброго мнения обо мне. Я благодарен вам. Но скажите, что вы можете? Что?.. Ведь это сильнее нас.

«Как он сразу!..» На какой-то миг Рябинин почувствовал огромное облегчение, но затем значимость услышанного встала перед ним во всей ее полноте и поразила, как нечто совершенно внезапное. Словно не было ни прежних открытий и догадок, ни сегодняшнего разговора Екатерины Ивановны с Ниной. И еще: все то, с чем шел сюда Рябинин, разом сникло, потерялось, смешалось перед откровенностью этого признания.

Сзади, в окне, коротко прошумело что-то: то ли ветер хлестнул по стеклу, то ли ударились о него несколько одиноких капель дождя, то ли птица, пролетев, задела окно крылом.

— Вы — и Нина!.. Слушайте, но это же... Коли на то пошло, это же...

— Что? Что «это же»?

— Слушайте, это же невероятно! Вы хоть сознаете?

— Алексей Александрович, не надо! Ну к чему? Ну зачем?

«Как он сразу!»

Снова прошумело что-то за окном, на этот раз на железном карнизе.

— Невероятно!

— Что я могу поделать? — Орсанов поднялся. — Что?

Он повернулся к окну и повторил:

— Ну что? Ну что?

— Не надо обманывать себя. Ваш возраст...

— Возраст, возраст! Двадцать, сорок — скажите, в чем разница?

— Человек должен быть сильнее своих пороков.

— Пороков?!

— Простите!..

«Уйти. Обдумать все спокойно. Обсудить с Катей».

Рябинин встал. Орсанов тотчас же повернулся к нему, и Рябинину почудилось, что Орсанов не хочет, чтобы он уходил, что ему хочется продолжать это свое самообнажение.

Они прошли мимо небольшого, изящного письменного стола.

— Невероятно! — Рябинин остановился у двери. — Слушайте, и вы что... вы действительно?... Или у вас просто...

— Вы отец, я должен прощать вам все.

— И что же... значит, вы что... вы намерены расстаться с женой?

Орсанов ответил не сразу. Но Рябинин видел, что эта пауза не была следствием неуверенности, стремлением как-то оттянуть время, спрятаться. Странно, Рябинин

подумал даже, что почему-то уже наперед знает сами слова, которые прозвучат сейчас, даже знает, как они прозвучат.

— Что ж, я готов пройти через этот ад — суд, развод. Я готов.

Рябинин переступил с ноги на ногу.

— Не сомневаюсь, что вы порядочный человек, и все же... вы понимаете, о чем я?

— Алексей Александрович, это несправедливо, наконец!

— Простите!

...Улица сначала полого, почти незаметно шла вниз, а затем, переломившись, коротко взбегала вверх, к набережной. Рябинин шел аллеей до самой нижней точки ее. К берегу подниматься не стал, сел на скамейку.

Два конца завязались в один узел. Первый конец недоступен, его не ухватишь, за ним можно лишь наблюдать и жить надеждой, что Нина сама оборвет его. Но другой конец!..

Важно, чтоб правда доходила до Нины. И доходила не как покушение на ее любовь.

И никаких опрометчивых шагов! Еще неизвестно, смолчит ли Орсанов. О-о, можно себе представить, как воспламенится Нина!

Вспомнилось из «Гамлета»:

Но видит бог, излишняя забота —  
Такое же проклятье стариков,  
Как беззаботность — горе молодежи.

Ты не старик, конечно, но у тебя взрослая дочь.

Он сидел, опустив локти на колени. Взгляд его упал на растрескавшийся бугорок в асфальте под скамейкой.



Рябинин тронул его ногой, от бугорка отвалился кусочек асфальта. Внутри бугорка что-то зажелтело. Рябинин нагнулся... Гриб! Маленький гриб, сумевший проломить панель.

«Какая сила жизни!»

Он вдруг почувствовал себя как-то спокойнее и крепче.

«Ну что ж, надевай доспехи, витязь».

**В**

После утверждения номера газеты редакционной планеркой полосы верстались в типографии и рано утром на другой день поступали к редактору. Тучинский читал их и часам к одиннадцати утра отправлял ответственному секретарю со всеми поправками, замечаниями и написанными на полях распоряжениями. Так что до этого времени у Рябинина, казалось бы, не было оснований для беспокойства. И все же по каким-то неосознанным приметам — потому ли, что Лесько не посылал ему статью с замечаниями редактора (хотя стрелка часов лишь только-только перевалила за одиннадцать), потому ли, что словно онемел телефон (хотя отчего бы ему и не помолчать какое-то время), еще ли почему-то, но Рябинин все более склонялся к мысли, что со статьей неблагополучно.

В двенадцать он не выдержал и, прервав работу над письмом — одним из тех писем читателей, что должны составить целую полосу газеты, — позвонил Лесько.

- Что, мастер, похоже, я горю?
- Синим огнем.
- Снял?

- Да.
- Написал что-нибудь?
- Наставил вопросов.
- Он у себя?
- Нет. Появится — сообщу.

Лесько сдержал слово, и через несколько минут после его звонка Рябинин вошел к Тучинскому. Редактор встретил его тем же широким взмахом руки, тем же крепким рукопожатием, но на лице — столпотворение чувств: и недовольство, и досада, и неловкость, и сомнение.

— Уж очень тягостную картину нарисовали, Алексей Александрович. Господство ручного труда. Да еще женщины.

— Следовало приукрасить?

— Что значит — приукрасить? Дать, как оно должно быть, как оно, я уверен, и есть на самом деле. Свет и тень.

— На дистанции замечательные люди и скверные руководители. Свет и тень.

— Сгустили, сгустили, Алексей Александрович. И потом, эта «решетка». Начальник дистанции против, начальник отделения против. Ежнов звонил в службу пути управления дороги — там тоже против. Вся рота идет не в ногу, один Федотов в ногу?

— Статья неубедительна?

— Вы были у Ежнова. Дважды. Он высказал точку зрения обкома.

— Статья неубедительна?

— Ну, это уж похоже на обструкцию! Мы не можем, не можем так! Обком добивается одного, а мы — другого. Газета противопоставляет себя обкому?

— Коли на то пошло, Ежнов — это еще не обком.

— Тогда, выходит, и Бородин не обком, а лишь секретарь обкома?

— А разве не так?

— Одним словом, поищите, поищите выход, Алексей Александрович!

— Выход есть: добавить еще один абзац.

— Какой?

— О Ежнове.

— Мы не развлекаемся, а ведем серьезный разговор... Кстати, одну статью в пику Ежнову вы уже напечатали. Ваш очерк о директоре автобазы, помните?

— Действительно... Мне и в голову не приходило. Значит, все не случайно!

Тучинский насупил белесые свои брови; он был явно не рад, что напомнил об очерке. Но Рябинин не собирался великодушничать.

— Вырисовывается стиль работы транспортного отдела обкома. Ежнов понятия не имеет, что делается на местах.

— Уж сразу обобщать...

Редактор глянул на стенные часы, провел ладонями по кромке стола.

— Подумайте, подумайте еще там с Лесько. Не спорю, статья интересная. Ее надо спасти. Даже обязательно надо спасти.

— Ценой спасения престижа Ежнова?

Тучинский страдальчески поморщился:

— При чем тут престиж? Обком дал установку.

— Надо пойти к кому-нибудь из секретарей.

— Ежнов уже переговорил со вторым.

— Коли на то пошло, обратиться к Бородину.

Тучинский снова провел руками по кромке стола.

— Подумайте, подумайте еще! Вместе с Лесько. Статья, повторяю, интересная. Федотов замечателен. И девушка — прямо перед глазами стоит... А этот Зубок! Гнать, гнать надо таких! Мало, судить!

— Ежнов назвал его крепким командиром.

— За всеми не уследишь... Поработайте, поработайте еще, Алексей Александрович.

Идти от Тучинского — не миновать двери к Атояну: один коридор. Дверь была настезь — Атоян подкарауливал.

— Алеша!

Закрыв за Рябининым, сдернул очки, швырнул их на стол.

— Можешь не рассказывать. Знаю... Сукин сын!

Дернул головой, скосил глаза куда-то вниз, в угол комнаты.

— А я тут с Валентином поругался. Вчера утром. Из-за тебя. Представляешь, что ему взбрело? Будто ты нарочно в Ямсков поехал — его подсиживаешь!.. Талантище, эрудит, уйма мозгов. Блеск! И пожалуйста — заскок. Рецидив эгоцентризма.

— Слушай, иди ты со своим Орсановым. Только мне и забот!..

В коридоре он все-таки почувствовал себя виноватым перед Леоном. В сущности, его слова были поддержкой: Орсанов Орсановым, но ты, Рябинин, мне дорог, и я с тобой. Хорошие ребята в редакции.

На глазах Рябинина в газете сменилось пять редакторов. Тучинский — шестой. Самый простой в обращении, самый демократичный из шести. И самый человечный. Когда болезнь сваливала Рябинина, непременно оказывалось, что в редакции вспоминали вдруг о какой-то

проявленной Рябининым и не замеченной прежде инициативе; издавался приказ, Екатерину Ивановну приглашали в бухгалтерию и вручали премию. И так было с любым другим работником редакции, когда он оказывался в затруднительном положении. Если кому-нибудь из сотрудников редакции случалось попасть в больницу, у главного врача раздавался телефонный звонок, и голос, уже хорошо знакомый главному, спрашивал, не надо ли какие-нибудь лекарства выписать из Москвы, не требуется ли отдельная сиделка, — можно будет найти средства для ее оплаты. . .

И все-таки в редакции не были в восторге от Тучинского.

Канули в Лету времена вредителей; еще недавно самый распространенный в жизни и в литературе конфликт новатора и консерватора становится нетипичным; и перестраховщиков научились избаловать люди. Общество вроде бы все основательнее вооружается опытом борьбы с пороком. И только с человеческими слабостями оно пока ничего не может поделать.

Есть такое выражение: «Не его вина, а его беда». Скверное, в сущности, выражение. Нет, вина есть. Ибо, если ты неорганизован, не берись управлять; если ты лишен чуткости, не берись воспитывать; если ты нерешителен, тебе не место там, где нужно решать. . .

Правда, газета, которую редактировал Тучинский, не выглядела трусливой, потому что не из робких подобрался сотрудник. И еще потому, что Тучинский мог пропустить смелую, даже очень смелую статью, если обстоятельства складывались так, что еще до опубликования статьи ее не оспаривал кто-нибудь из руководящих работников. Но когда на столе редактора появлялась

в рукописи, в гранках или в сверстанной полосе статья, которую уже сейчас надо было отстаивать, за которую уже сейчас требовалось идти в бой, решительность покидала его. Открытая схватка — мнение на мнение, речь на речь, страсть на страсть — этого он не умел. Скорее он подал бы заявление об уходе, чем вступил бы в сражение. В таких случаях бой оставалось вести самому автору.

Конечно, это уже было знакомо Рябинину. Возможно, даже более, чем кому-либо в редакции. Сейчас сюжет повторялся. Достаточно было вмешаться неулыбчивому человеку, Ежнову по фамилии, заведующему транспортным отделом обкома по должности, как слабости Тучинского обращались в силу, направленную против Федотова, его дела, его правды.

## VI

— Я — на пределе! — Выпятив подбородок и вместе с тем необыкновенно сильно ссутулившись, Рябинин шаркал по кабинету ответственного секретаря. В обычной своей манере он сунул распрямленные руки в карманы пиджака и так давил вниз, что, казалось, хотел разорвать пиджак по швам на костистых своих плечах. — Я пойду к нему и выложу все, что о нем думаю. Пусть, пусть знает.

— Знает и без тебя. И мучается.

— Пусть уступит место другому.

— Ишь чего захотел! В каждом из нас честолюбия сидит чуточку больше, чем надо. В обществе будущего этот избыток, я думаю, объявят врагом номер один.

Как человек способен подтянуться на турнике, быть сильнее своего веса, так он будет способен справляться и с честолюбием. И учить этому начнут серьезно, как грамотности, со школьной парты.

— К чертям все, пойду прямо к Бородину.

Он тут же позвонил в обком, но оказалось, что первый секретарь где-то в районе.

— Возможно, появится вечером. Я обязательно доложу о вас. Вы позвоните мне. — Помощник секретаря обкома, как и сам секретарь, говорил окая. Оба были волжане. С Бородиным работал уже много лет, так и переезжал с ним с места на место.

Вошел Волков. Как всегда, ослепительно белая сорочка, свежий галстук, свежевыглаженный костюм. Казалось, за дверью, которую Волков прикрыл за собой, осталась не будничная редакционная обстановка, а какой-то официальный торжественный раут.

Спросил Лесько:

— У вас есть чистая запасная полоса?

— Найду.

— Отрежьте подвал Рябинина и отправьте курьером начальнику отделения железной дороги Угловых. Он ждет. При любом исходе событий ему полезно ознакомиться.

— Угловых в этом деле нам не союзник, — вставил Рябинин.

Волков спокойно посмотрел на него:

— Там видно будет.

И, снова обратившись к Лесько, повторил:

— Пошлите, пожалуйста, сейчас же!.. И второе. Я задержал рецензию Орсанова. Размножьте ее, пожалуйста. Пусть прочтут все сотрудники. Обсудим на летучке.

— Надо бы сначала спектакль посмотреть, — пробурчал Лесько.

— Обязательно. Всем. В порядке культпохода, есть же у нас местком. Или, пожалуйста, в порядке служебного задания. Можно отдать приказ.

...В этот вечер Екатерина Ивановна рано вернулась из школы. Не только потому, что таково было расписание уроков; она успела переговорить с мужем по телефону, и он рассказал ей о событиях дня. В прихожей спросила Нину:

— Папа дома?

Нина кивнула.

Случись наоборот — отец вернулся бы с работы позже матери, — дочь услышала бы вопрос: «Мама дома?» Он обязательно был бы задан, этот вопрос. В своем доме Рябинин чувствовал себя менее спокойно, если не заставлял жену. И хотя дома он обычно тоже работал, ему всегда хотелось, чтобы Екатерина Ивановна была рядом.

И она, придя домой и задавая привычный вопрос, тоже очень хотела в этот момент услышать утвердительный ответ. Получив такой ответ, Екатерина Ивановна удовлетворенно замолкала на время. А муж, слышав ее шаги, непременно прерывал работу и выходил из дальней половины комнаты, как если бы Екатерина Ивановна приехала откуда-нибудь и он давно не видел ее.

Так началось двадцать лет назад, когда они поженились; так было и пять, и десять, и пятнадцать лет спустя. Так было и теперь.

— Ты звонил второй раз в обком?

— Сейчас позвоню.

Но он не сразу пошел к телефону: перевел взгляд



с Екатерины Ивановны на дочь. Нина стояла у овального настенного зеркала. Проводя гребнем по волосам, она поднимала на зеркало глаза. Движения ее не были быстры, но не от лености, не от бесстрастности; наоборот, их нарочитая сдержанность лишь обнажала взволнованность Нины.

Сейчас она закончит причесываться, наденет пальто и уйдет...

— Можно прочесть твою статью из Ямскова? — услышал он вдруг ее вопрос.

— Ты уже читала однажды.

— Прочту еще раз. — В голосе Нины послышалась отчужденность.

Отец усмехнулся:

— Весьма польщен. Кстати, статью сняли.

— Сняли? Как сняли?

— С готовой полосы. Возможно, этот факт...

Екатерина Ивановна сжала его руку.

— Я могу прочесть? — повторила Нина.

— В верхнем ящике стола — второй экземпляр.

Нина взяла пальто.

— Я в библиотеку, мама. В читальный зал.

Очевидно, ей стало несколько не по себе, иначе она не сказала бы этих смягчающих слов.

Телефон стоял во второй половине комнаты. Окающий басок помощника секретаря обкома сообщил:

— Оказывается, по этому вопросу Игорю Ивановичу уже докладывал Ежнов.

— И что же?

— Игорь Иванович считает, что редакция и Ежнов должны разобраться сами.

— Значит, он меня не примет?

— Поскольку нет необходимости...

На двухъярусном столе лежали открытый томик Ленина и не дописанная Рябининым аннотация к целевой полосе писем читателей. Рябинин придвинул ближе книгу, взял авторучку.

Жена знала, что он ничего не прочтет и не напишет сейчас, хотя будет с упорством заставлять себя работать. Екатерина Ивановна смотрела на его согнувшуюся широким бугром спину, и ей казалось, что она слышит, как в этом оцепеневшем бугре бьется ярость.

— Алеша, но ведь не в первый раз. Уже бывало, и все-таки печатали.

Он не ответил. Перевернул страницу книги, круче нагнулся к столу. А Екатерине Ивановне хотелось, чтобы он обернулся, чтобы крикнул что-нибудь: «Не мешай! Что ты понимаешь? Отстань! Уйди!» — любые слова, лишь бы закричал, лишь бы дал выход бешенству.

— Ты добьешься. Ты знаешь, что все равно добьешься. И тебе еще скажут спасибо. Вот увидишь.

Он обронил наконец:

— Какая подлая сила!..

— Ежнов отстаивает свою точку зрения.

— Какая подлая, нахальная, упрямая сила! И где? В каком святом месте! Вот что невыносимо. Невыносимо подумать, Катя!

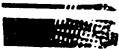
— Но разве ты не сила?

Он вздохнул — Екатерина Ивановна видела, как поднялись и опустились его плечи, — и пошел к дивану.

Она села рядом с ним, села удовлетворенная, потому что чувствовала, что ей кое-что удалось.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ



 Он ошибается. В читальном зале ты взяла подшивку газеты и прочла «Ночь Михаила Подколдева». Потом ты прочла статью отца — во второй раз. И ты убедилась: между этими статьями нет решительно никакой связи — он писал об одном, а отец совсем о другом. И самое главное, статью отца сняли. По логике вещей ее никак не должны были снимать. Значит, он неправ, значит, он ошибается.

Что ж, разве он не может ошибаться? Правда, это коснулось твоего отца, и в самом дальнем уголке души поселилось что-то смутное — сожаление ли, смятенность ли... Но он — Орсанов. Он имеет право на ошибки, он на многое имеет право.

Теперь какой-то Волков задержал его рецензию. Какой-то Волков! Что он написал? Кому известен?

Орсанов шел на вокзал. Получил телеграмму от отца: «Буду проездом Москву...» Дата, номер поезда и вагона.

Встреча будет короткой — сорок минут стоянки поезда.

Между ними уже давно оборвалась связь, если не считать сакраментальных приписок отца к письмам матери. Орсанов шестнадцати лет вырвался из-под отчего крова. Уехал из родного города, чтобы поступить в Театр рабочей молодежи — ТРАМ. Мать, разумеется, всячески

поощряла его мечту, хотя и никак не предполагала, что мечта эта так рано уведет сына из дому. Мать могла терпеть все тяготы их жизни. Собственное увлечение театром, очевидно, помогало ей в этом. И она терпела характер мужа, вечную неустроенность, вечные переезды с одной скверной квартиры на другую, вечную нехватку денег — логическое следствие того, что муж без конца менял работу. Вернее, она не замечала всего этого. Другое дело — сын. Он рвался на свободу. И хотя в городе было три театра: два драматических и оперетта, — он уехал.

Но, избавившись от тирании отца, он познал тиранию режиссера. И полуголодную жизнь. И горечь поражений. Другие могли сносить, а он не мог. Словом, он расстался со сценой, хотя и не сомневался тогда, как не сомневался сейчас, что в нем спрятан талант актера.

...На вокзале царили галдеж и суета. На перрон еще не впускали, но Орсанова контролер не задержал.

Поезд уже подползал к вокзалу. Орсанов пошел в конец перрона, туда, где, по его предположению, мог остановиться вагон, названный в телеграмме отца.

В последний раз они виделись шесть лет назад — Орсанов навестил родной город по дороге с курорта. Был всего два дня, по сути даже меньше: отпуск кончился. Снимал номер в гостинице: у стариков негде — одна комнатенка, да и беспорядок ужасный. И потом проблема питания. Он не считал себя гурманом, но морковные супы матери и каша из овсяных хлопьев — это невозможно вынести.

Поезд замер. Проводник откинул железный щит, ограждающий ступеньки вагона, и сошел на перрон. Затем спустилось несколько пассажиров с чемоданами,

и знакомая длинная, сухопарая фигура отца показалась в тамбуре.

— Смотри ты, какой вальяжный! — еще не совсем сойдя на перрон, выкрикнул отец обычным своим высоким, резким голосом. — Ну, ну, здравствуй!

Они обнялись коротко и неловко — щека Орсанова на миг коснулась щеки отца, скорее даже не щеки, а уха и шеи.

Пегая, местами белая, местами пепельно-серая грива длинных волос, «толстовка» с широким матерчатым поясом, округлые, несколько задранные вверх носы штиблет — все, как шесть, как десять, как двадцать лет назад. И тот же обесцветившийся, истрепанный портфельчик в руке... Почему он захватил его с собой? Возможно, хочет остановиться здесь?

— Это... весь твой багаж?

— Багаж? У меня-то... Чемоданишко стоит на полке — вот и весь мой багаж. Я не курортник и не артист какой-нибудь. Еду вот в Москву. Не видел ее с войны. Законный отпуск, двенадцать дней. Больше не дают. И на том благодарствуем. Хватит, чтоб вдосталь намучиться в дороге.

Нет, не похоже, что он хочет сделать здесь остановку.

Проводник улыбался, слушая его пронзительно-крикливую речь, и Орсанов сказал:

— Отойдем. А то мешаем посадке... Может быть, в ресторан?..

— Нет, нет.

Они остановились возле цветочной клумбы, сбоку от здания вокзала.

— Как здоровье твое и мамы?

- Благодарствуем.
- Мама писала, у тебя неприятности.
- Приятностей у меня в жизни вообще нет.
- А все-таки?
- Схватился с главбухом. Разнимали нас аж в тресте.

Продолжаем трудиться на безбрежной ниве финансовой. Кобылка всю шею извертела, а из хомута не вылезла.

Добавил:

— Будто тебя это так уж интересует! Небось ночей не спишь, все обо мне печалишься?

— Зачем ты так?

— Ну хорошо, хорошо. Бог с ним, с отцом твоим. Времени у нас мало. Вопросец у меня к тебе. Вопросец, извини, прямой.

— Бога ради.

— Насколько я успел убедиться, письма ты читаешь. Что там в них, в подробностях я не знаю, она... как бы это сказать... забывает посвящать меня.

Орсанов рассмеялся:

— Ну о чем еще мама может писать! Я знаю о каждой премьере в вашем театре. Да что премьера!.. Счастливейший она человек. Немногим дано вот так, по самую макушку.

— Именно, именно немногим. Но насколько мне стало известно, она намекала в письмах, что хочет видеть тебя. Намекала, кажется, не раз и не два.

— ...По-моему, она настраивалась приехать сама?

— Следственно, ты разрешаешь приехать?

— В этом и состоит твой вопрос?!

— Не совсем... Что ты ей ответил?

— Разве не само собой разумеется?

- Конечно, конечно!
- Мне в голову не приходило, что возникнут сомнения.
- Да, да... Ляпсурд!
- Ну зачем этот тон! В конце концов, ты мог бы ясно написать.
- Все выяснилось только перед моим отъездом. До этого, как ты уже изволишь знать, я был не очень посвящен. Ей всегда не до меня. Вниманием не избалован.
- Что поделаешь...
- Да, да, что поделаешь. Я не в обиде. Как муж и хозяин очага я оказался далек от идеала. Прозрев на склоне лет, отмечаю сие.
- Мама всей душой в театре, это ей очень помогает.
- Сущая правда... Но насчет всей души изволите заблуждаться.
- Не понимаю.
- Представьте, половина ее души — в сыне. Даже значительно больше.
- Конечно... Мама — это мама... — Орсанов несколько оторопело посмотрел на отца.
- А мы не отвечаем, может она приехать или нет. Зачем терпеть неудобства?
- Я просто не придавал значения.
- Именно, именно.
- Ты неправильно понял. У меня много работы. И потом, ее письма... В них только о театре.
- Представьте, ее длинные письма о театре — единственная возможность говорить с вашей милостью. Коротко писать она не может, кроме писем, ей ничего не осталось.

— Ты преувеличиваешь. Поверь, ты преувеличиваешь. Она прислала с тобой что-нибудь?

— Нет. Видит бог, нет.

— Ни строчки?

— Как раз на эту прискорбную тему и был между нами разговор. Перед моим отбытием.

— Но она знала, что ты хочешь повидаться со мной?

— Для верности сальдо заменим слово «хочешь» словом «вынужден». . . Нет, она не знала.

— И не знает?

— Не печалься так. Она не выдержит долго. Простит. Напишет длинное письмо о театре.

И вдруг с неожиданной, несвойственной ему задумчивой горечью добавил тихо:

— Иначе она умрет.

Посадка на поезд давно закончилась. Пассажиры, что вышли пройти, уже возвращались в вагон. Некоторые из них задержались возле проводников, но то и дело поглядывали на часы.

— Отец, останься! Сделай здесь остановку!

— Благодарствую.

— Но ты же собирался. Не хитри. Зачем ты захватил из вагона портфель?

— А мы что, уже построили такое общество, что в нем воры перевелись?

— Ты же не боялся оставить чемодан?

— Мой чемодан украдут — не разбогатеют. А здесь, в портфеле, дела людские. Старушенция одна о пенсии хлопочет. Передала мне документы. Целая папка. Сосед по кварталу насчет протеза попросил. Инвалид. Чертежи сделал. Дожили, что инвалид сам себе протез проек-



тирует. Зайду в столице на протезный завод. Надеюсь, возьмут, благодетельствуют.

Прозвучал долгий паровозный свисток. Отец ткнулся рукой в руку Орсанова, и вышло так, что Орсанов ухватил лишь его пальцы, не получив ответного пожатия. Тогда, торопливо освободив руки, они подались было друг к другу, но не обнялись, а лишь как-то толкнулись один о другого.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

У Рябина было два альбома, которые он сам сшил из чистой газетной бумаги: один хранился на работе, другой дома. Два абсолютно одинаковых экземпляра с абсолютно одинаковым содержанием: в альбомы Рябинин вклеивал свои опубликованные статьи.

Он завел альбомы не тщеславия ради. Как-никак они помогали Рябину следить за ростом своего профессионального умения. И еще это был отчет перед самим собой. И это был дневник, или, как Рябинин сам по старой флотской привычке любил выражаться, «корабельный журнал».

Пришел черед и статье о путейцах.

В обычный час сентябрьским утром Рябинин вошел в свою комнату в редакции. В комнате было свежо — уборщицы оставили форточку открытой, — и поэтому особенно остро пахло типографской краской от только что выпущенной газеты. Она дожидалась Рябина на столе.

Подвал на второй странице. Федотов, Ногин, Вера — люди, проблемы, сражения — жизнь Ямсковской дистанции пути.

И хотя статья была для Рябина уже завоеванным рубежом, хотя он думал этим утром уже не столько о ней, сколько о странице писем читателей, которую готовил сейчас, Рябинин начал рабочий день с того, что вы-

резал статью и достал из тумбочки стола свой «корабельный журнал»...

Вечером он проделал то же самое. На этот раз дома.

Екатерина Ивановна хлопотала у обеденного стола: ждали гостя — путейского мастера из Белой Выси Василия Евграфовича Ногина.

Судьба статьи решилась вчера. Вообще вчерашний день был на редкость стремителен и насыщен событиями. Главным событием был, конечно, разговор у секретаря обкома.

Рябинин пришел вчера в редакцию уже после обеда, из мастерской по ремонту квартир и мебели. Был там в связи с письмами читателей.

Лесько сообщил:

— Подкрепление прибыло, витязь, башибузук твой приехал.

— Ногин?!

Это было совершенной неожиданностью. Рябинин настоял, чтобы отделение железной дороги вызвало из Ямскова Федотова: с ним он намеревался пойти к секретарю обкома. Рябинин не допускал мысли, что не добьется приема. Но Федотова не оказалось на месте, он уехал на шпальный завод, в соседнюю область. И вдруг — Ногин, который, по всем расчетам, должен быть еще на курорте.

Не застав в редакции Рябинина, мастер спросил, кто тут повыше. Ему назвали Лесько. Так случилось, что Лесько, направляясь в машинописное бюро, встретил коренастого человека в железнодорожной шинели, который, чуть прихрамывая, решительно шагал по коридору и пробегал глазами таблички с фамилиями сотруд-

ников редакции на дверях... Финал встречи ответственного секретаря газеты и путейского мастера был таков: «Статья подготовлена, товарищ Ногин, но вопрос изучается дополнительно». — «Когда напечатаете?» — «Можете не сомневаться в нашей объективности». — «Напечатаете-то когда?» — «Точно дату назвать нельзя». — «Понятно. Значит, и здесь тормозит. Понятно».

С этим и ушел.

А в конце рабочего дня стало известно, что секретарь обкома вызывает на восемь вечера Ежнова, Тучинского, Волкова, Рябина, начальника отделения железной дороги Угловых и Ногина. Встречая приглашенных, Бородин подольше задержал в своей руке руку мастера. Проокал, растягивая слова:

— Прошу прощения, что не мог принять днем. Но мне, как видите, доложили. Вы вроде должны быть в санатории?

— Приехал уже...

— Удрал, — уточнил Угловых.

Бородин улыбнулся:

— Надоело?

— Участок без хозяина. Скоро зима. — Голос у мастера негромкий, но удивительно низкий и чистый — такая концентрированно басовая, без единой трещинки и фальши нота.

— А что врачи? Выписали на работу?

— У меня больничный. А то как бы я сюда в будний день приехал?

— Во какой, а! — рассмеялся Бородин. Прошел к своему столу.

Угловых доложил: сейчас отделение вплотную изучает предложение Федотова.

- Где раньше были?
- Рубите голову, Игорь Иванович. . .
- Почему сейчас вдруг занялись?
- Редакция помогла.

Бородин повернулся к Тучинскому:

— Вы что же, Евгений Николаевич, согласовываете статьи с теми, кто в них критикуется?

— Игорь Иванович, в статье товарища Рябинина отделение не упоминается.

— Хозяйство-то на отделении едино, и командующий один.

Сидящий за Тучинским Волков пояснил:

— Это я послал статью начальнику отделения. Против нее стеной встал транспортный отдел обкома.

Волкова перебил Ежнов:

— Статья Рябинина — поклеп на советскую действительность. Если бы вы прочли, Игорь Иванович. . .

— Вы, выходит, прочли?

— Поскольку ставятся принципиальные вопросы транспорта, я попросил гранки.

— А я вот не попросил. Доверяю редакции. Работают там наши партийные товарищи. Как им не доверять?

— Я учту, Игорь Иванович. Но статья дает искаженную картину труда советских железнодорожников.

Волков возразил:

— Речь идет о дистанции пути.

— Почему товарищ Рябинин так падок на плохое? Почему он не хочет показать хороший путевый околоток?

— Некрасивый намек, товарищ Ежнов.

Вмешался Тучинский:

— Павел Степанович, в статье показаны замечательные люди.

— Люди у нас везде замечательные. Расскажите о предприятии высокой механизации труда. В Ямскове прочтут, сделают выводы, воспримут как критику недостатков.

— Очень действенный метод критики, — съязвил Волков.

— Для чего нужна статья товарища Рябинина, если вопрос о «решетке» уже изучается?

Рябинин вставил:

— А для чего нужен Зубок?

— Товарищ Рябинин, вы знаете Зубка один день, а я двадцать пять лет.

— Тем хуже для вас. — Рябинин выпрямился. — Коли на то пошло, я хочу официально довести до вашего сведения, Игорь Иванович, что мы не впервые расходимся с товарищем Ежновым. Свидетельство тому — история директора автобазы.

— Игорь Иванович, я двадцать лет занимаюсь транспортом. В политотделе отделения, в политотделе дороги...

Бородин сделал движение рукой:

— Подождите ломать копыя. Вы, наверное, все-таки опубликуете статью, Евгений Николаевич?

Тучинский ответил, почти не колеблясь:

— Я думаю, надо, Игорь Иванович.

Волков взглянул на часы:

— Можно успеть в завтрашний номер.

— Прямо в завтрашний?.. Во какой! — Бородин сверкнул в сторону Волкова живым, одобрительным

взглядом. — Рябинину опомниться не дал — сразу в район.

— Нет, нет, я сам, — поспешил уточнить Рябинин.

— Вместе на меня навалились, — сказал Тучинский. — У них контакт.

— Что ж, боец чувствовал бойца. — Помолчав в раздумье, Бородин встал. — После статьи и вернемся к вопросу.

— Понятно, Игорь Иванович, — сказал Угловых.

— Товарищ Ногин, возможно, у вас есть еще что-нибудь ко мне?

— Пока нет.

— Пока! Во какой, а!

Рябинин и Ногин вместе вышли из приемной Бородина.

— Спасибо, что приехали, Василий Евграфович!

— Вам спасибо! — Мастер улыбнулся радушно и просто. У него было сухое, почти коричневое, грубовато-обветренное лицо путейца; выпуклость широкого лба послушно облегла прядка светлых, выцветших волос, зачесанных на прямой пробор; нос был тоже широк. Когда Ногин улыбнулся, нос сделался еще шире. Рот блеснул великолепными зубами... Рябинину вспомнилась Вера.

— Вы когда уезжаете? — спросил он Ногина.

— Денек побуду. Есть еще тут дела... По врачебной части. — Он кивнул на свою ногу.

— Если завтра опубликуют статью, зайдите, поделитесь мнением.

— Это бы хорошо. Только я лишь вечером смогу, вот какая беда.

— Ну какая ж тут беда! Можно и вечером... Коли на то пошло, встретимся у меня дома.

— Удобно ли?

— Удобно, удобно!

Все это было вчера.

...Приклеив статью, Рябинин полистал альбом. Отяжеленные вклейками страницы его шуршали и потрескивали.

В нынешнем году удалось меньше, чем в прошлые: больница. Ничего, наверстается.

Он снова открыл альбом на той странице, куда только что приклеил статью о путейцах... Что она? Теперь уже эпизод. Удивительное существо человек! Кажется, полностью выложит себя, делая какое-то дело. А закончит — и обнаруживается, что не только не исчерпал силы, но, наоборот, накопил их для новых дел.

Думая обо всем этом, Рябинин не переставал прислушиваться, не раздадутся ли два звонка, означающие приход гостя.

II



Ногин одернул свой синий, видимо тщательно оберегаемый, выходной китель, огляделся.

— Отдельную бы вам надо квартирку-то. Вот и кабинета у хозяина нет...

От чая не отказался и к столу подошел со свойской простотой.

— Что это вы с инструктором райкома так круто обошлись, Василий Евграфович?

— С Панеевым-то?

— С ним. Мне Федотов рассказывал.



— И не вспоминайте!.. Старики говорят: в твоём приходе поп шепеляв — других слушать не захочется. Так и тут. Подумал я, что инструктор этот вроде нашего товарища Красильникова: сеялка без семян, один пустой стук идет... Теперь-то уж разобрался.

Помолчали.

Ногин достал из кармана брюк сложенную в несколько раз газету. Развернул ее с некоторой торжественностью.

— Ваша статья.

— И как она вам? — спросил Рябинин.

— Конечно, еще бы кое-что можно добавить... Вы не подумайте, что я недоволен, но можно было бы кое-что...

Он посмотрел виновато на Екатерину Ивановну и Нину.

— Такой уж, видно, характер у нашего брата путейца: все о своем да о своем... — Потеребив наружный карманчик кителя, продолжил, обращаясь уже к Рябинину: — Вот «решетка», она ведь не только труд облегчит и высокий темп работам задаст. Весь строй нашей путевой жизни изменится. Путеукладочной машине — ей что? — ей требуется собрать побольше людей. Давай почти со всей дистанции. Значит, что? Значит, почаще будем в куче, в коллективе. А сейчас? Расползлись по околоткам, по километрам, вразнотык живем. Коллективности мало. И получается, есть на дистанции одна сила — начальник Петр Захарович Зубок, а остальные вроде как человечки... Ломать, ломать ее надо, вековую специфику нашу путевую. Отгрохали вон в Ямское красный уголок, а он что? Пустует. Если прямо сказать, пока он у нас только для покойников — помрет кто, гроб

ставят, для прощания с телом. . . Конечно, может, я очень зло, так ведь за людей душа болит. А люди у нас какие? На часы не смотрят. Если заведется какой, что смену отработал и сразу руки вымыл, так его и за путейца не считают. Так, скажут, семичасовик. — Ногин помешал чай. — Или путевых обходчиков взять. Стихи про них пишут, песни поют. Все про то, как они диверсантов на путях ловят, на месте преступления. Герои-то герои, а тоже есть над чем задуматься. Отец мой всю жизнь обходчиком.

— В Белой Выси?

— Зачем в Белой Выси? На сто седьмом километре. Я там рос, я и Вера. Там и родились, в путевой будке. Только одна она и стояла на сто седьмом километре, отца нашего, Евграфа Тимофеевича, путевая будка. И по сей день в тех местах мало кто скажет: «Пойду на сто седьмой километр», — скажут: «Пойду на Евграфову будку». Даром что нынче на сто седьмом километре целый поселок. . . Но это к вопросу не относится. Участок обхода у отца восемь километров. Всего в день этак километра двадцать четыре прошагает. Не пустой, снаряжение с ним: костыльный молоток, ключ гаечный и прочее. Иной раз снаряжение потяжелее солдатского. У солдата, известно, полная выкладка — тридцать два кило. Когда я служил. Теперь не знаю, может, полегче. Вот и отец так. И не просто маршируй, а все вниз да вниз смотри, каждый стык, каждую гайку обшаривай. Легко? . . А у нас на дистанции кое-где женщины обходчицами.

— Ах, черт, не застал я вас тогда! — Рябинин в возбуждении прошелся по комнате.

— Да вы что, Алексей Александрович! Вы же и без того великое дело сделали. Великое! Не то что этот ваш... Орсанов...

Ложка, которой Нина рассеянно водила по блюдцу для варенья, чуть стукнув, остановилась.

В этот момент Рябинин был за спиной дочери. Глядя на гостя и весь воспламенившись, произнес мысленно: «Ну, ну, что же ты?!»

— Приехал к нам на ветку, скок-поскок, схватил, что поверху...

Рябинин глянул на дочь. Он увидел ее согнутую над столом спину и уголки обнаженных локтей. Они дрожали, эти острые белые локотки, и Рябинин так же разом отрезвел, как мгновение назад разом воспламенился... «Черт! Нет, нет, так не годится!»

Он прошел к столу и сел напротив дочери, понимая, что должен сесть именно напротив нее.

Затем все случилось, как он ожидал. Нина подняла на него взгляд. В глазах ее был обращенный к нему прямой вопрос: ты подстроил это? Ты все знаешь, да?

Он сказал, выдерживая ее взгляд:

— Василий Евграфович, о статье Орсанова вам лучше говорить с ним самим.

— Не успею. А вы ему мое мнение все-таки передайте. Ну, написал он, и что? Мы тех Подколдевых и без него как облупленных знаем. Чем помог? Какой вопрос поставил?.. Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут.

Нина снова склонилась к своей чашке, но Рябинин понимал, что сейчас ей нестерпимо хочется встать и уйти, и, пожалуй, он был бы рад сказать что-нибудь

такое, что помогло бы дочери, сделало бы ее уход не столь неожиданным и неуместным.

Очевидно, и гость уловил что-то неладное.

— Варенье-то сами готовили, Екатерина Ивановна? — спросил он.

— Да, да, мое производство. — Екатерина Ивановна закивала с преувеличенной радостью.

— Аромат!.. Клубника нынче хороша была.

— Все ранние ягоды нынче удались.

— Зато поздним не повезло: дожди.

 Нина поднялась и, тихо произнеся «извините», ушла в другую половину комнаты.

### III

До тебя доносятся голоса, что звучат там, за дверью. Но ты не различаешь слов, ты думаешь о своем.



Нет, нет, отец ничего не подстраивал. Случайность. Просто случайность. У них общие

дела, и поэтому он пригласил этого человека.

А если он уже все знает?

Нет, нет, случайность.

Но если бы он даже знал, он не подстроил бы. Он не мог подстроить, он не такой... «Василий Евграфович, о статье Орсанова вам лучше говорить с ним самим»... Спасибо, спасибо, папа!

Но почему, почему все так складывается? Даже этот железнодорожник!..

Рецензию собираются обсуждать на совещании. Дорвались! И все Волков, этот держиморда Волков! И тряпка Тучинский!

Они завидуют и мстят. Да, да, они завидуют и мстят... И Тучинский?.. Да, да, и Тучинский, и Тучинский!

#### IV

Когда-то давно вестибюль того здания, где теперь находилась редакция, был весьма обширен. Потом вестибюль перегородили, как раз по линии трех массивных колонн, стоявших посередине: выгадали таким образом дополнительное полезное помещение. Комната получилась нескладная — длинная, полутемная, с одним окном в конце, с выпирающими из стены толстыми полуколоннами, но вместительная. Редакционные шутники звали ее колонным залом.

Колонный зал имел два назначения, совершенно исключающие одно другое: либо здесь на время закрывался кто-нибудь, не имеющий отдельного кабинета и жаждущий тишины и уединения, либо сюда сходилась вся редакция — на собрание или совещание.

В колонном и собрались, чтобы обсудить рецензию Орсанова.

Последним выступил Тучинский. Так принято во всех учреждениях — глава выступает последним. Так было принято и в редакции — редактор подводит черту. Но на этот раз случилось иначе. Тучинский не обобщал и не закруглял, он говорил, как все. Волнуясь, говорил о своем,думанном и передуманном, выношенном в душе. И как многие, кто выступал до него, Тучинский забыл о самой рецензии. Пожалуй, только Волков — он открыл обсуждение — в полной мере ссылаясь на нее. А потом произошел взрыв — взрыв желания говорить, обсуждать,

делиться мнениями, ибо мысли, высказанные Волковым, и были тем, что вызвало на широкий разговор, возможно давно желанный, давно созревший.

Тучинский выступил в тот момент, когда обычно в редакции идет завершающая и всегда очень интенсивная, нервозно-торопливая работа над завтрашним номером газеты. Тут же, в колонном, срочно вписывал что-то в сверстанную полосу Волков; вызвали в типографию Лесько; заведующий отделом партийной жизни Калугин изыскивал, что можно еще сократить в корреспонденции, потому что на полях последнего варианта сверстанной полосы чернел ненавистный «хвост» — неуместившиеся строки... И хотя шла вся эта работа, хотя было уже поздно и, пожалуй, все устали, было жалко, что дискуссия заканчивается.

Рябинин и Орсанов сидели недалеко друг от друга, в одном ряду. Орсанов молчал в течение всей дискуссии. Слегка отодвинувшись вместе со своим стулом от соседей и положив ногу на ногу, рисовал что-то на папиросной коробке. Коробка, новая, с белоснежными торцами, но уже измятая, лежала у него на коленке. Иногда Орсанов менял позу, но не переставал черкать авторучкой по коробке. По мере того как шло обсуждение, коробка гуще и гуще покрывалась синими чернильными черточками.

Рябинин сидел возле полуколонны, несколько укрывшись за ней, и до конца дискуссии не проронил ни слова.

Конечно, он хотел бы выступить. Ох, как много можно было бы сказать! Но Рябинин знал, что сделал правильно, воздержавшись. Накануне приказал себе: будешь молчать, так честнее. Честнее прежде всего по отношению к Нине.

Любовь — это когда все сильно: и жалость, и ревность, и мнительность, и противоречия, раздражающие человека, и удивительная уступчивость, удивительная готовность прощать. Пожалуй, после отъезда Ногина Рябинин особенно полно почувствовал это. И, наверное, никогда еще он не испытывал столь острого желания сделать все для своей Нины. Случалось даже, что Рябинин готов был отступить. Но едва ему представлялся Орсанов, как вспоминалось все, в душе словно лопалась какая-то перемычка, ярость затопляла Рябинина, и от кратковременного умиротворения и размягченности не оставалось и следа.

Он ждал схватки. И все-таки внушил себе: на дискуссии ты будешь молчать. Пусть борьба будет честной, без поддержки извне, без использования каких-либо обличающихся против Орсанова обстоятельств.

Обсуждение рецензии было таким обстоятельством.

Как того и хотел Волков, рецензию размножили на машинке и раздали сотрудникам редакции. Читая ее, Рябинин был придирчив, — не к ней, а к себе. Но напиши рецензию не Орсанов, а кто-то другой, Рябинин все равно не согласился бы с ней.

По сути, Орсанов сделал обозрение всей нынешней программы областного драматического театра. Но выделил две постановки: премьеру и еще один спектакль, показанный в середине прошлого сезона и возобновленный в этом. Рябинин, доведись ему готовить рецензию, написал бы только о премьере. И написал бы восторженно.

Рябинин был трудным, едва ли не привередливым зрителем. В последние годы спектакли на современную тему он шел смотреть с большой неохотой: слишком

часто они разочаровывали его. Особенно раздражало, что звучащие на сцене дорогие Рябинину высокие, значительные слова казались искусственно вложенными в уста героев; подмывало встать и крикнуть на весь зал: не то, не то!

Но как раз на этой премьере не довелось испытать ничего подобного. Все было хорошо в пьесе: и общественный конфликт, и гражданский пафос героев, и их думы и слова о высоком, — все отвечало самому строю чувств героев и было правдой.

Орсанов не то чтобы расхвалил спектакль, но и не то чтобы разругал его. Одобрил тему: современная; заметил: а так ли уж нужны громкие слова, которых столь много в спектакле? Зачем декларировать само собой разумеющееся?.. Обошелся двумя скучными абзацами, словно о дежурном столовском блюде отозвался.

Зато о втором спектакле написал много и упоенно.

Рябинин смотрел эту пьесу еще в прошлом сезоне. Это был спектакль о молодых ученых. Герои делали научные открытия, даже совершали подвиги. И все же они были несимпатичны Рябинину. То же самое высказывали сегодня и Волков, и Атоян, и Лесько... И наоборот, им, как и Рябинину, импонировали герои премьеры.

Нет, Рябинин не открывал заново людей, которых слушал. Разве что лишь Волков составлял некоторое исключение: об остальных Рябинин знал, что они таковы. Но сейчас он, как никогда, ощущал, как любит их, ощущал родство, слитность свою с ними. И он подумал, что, наверное, радость единства — высшая радость жизни.

Все, все было значительно в этом разговоре.

И то, что сказал Волков, возражая рассуждениям Орсанова о громких словах... Верно, что главное не слова,



а поступки: да, бывает, и подлец кричит о Родине, о коммунизме и тем лишь маскирует себя; да, нам дороги общечеловеческие ценности, общечеловеческие понятия о гуманности, о добре, о честности; да, да, говорил Волков, глупо отрицать все это. Но есть разница между честностью хорошо оплачиваемого исполнителя и честностью бойца, окрыленного большой общественной идеей. По-разному сделают они одно и то же дело, и радость, которую получают они от содеянного, будет разной... Нужны, нужны высокие слова! Без них жизнь и человек перестанут быть Жизнью и Человеком. Пусть молодость чаще слышит их, ибо как же иначе можно выковать бойцов? Не бывает же, черт побери, воспитания без слов!

И то, что он же, Волков, говорил о героях второй пьесы — пьесы о молодых ученых. Да, они увлечены научным поиском. Но в их поступках полностью отсутствуют общественные мотивы. Свет социальных идей не озаряет их труд, их подвиг. Хуже того, в пьесе роняют реплику: «Идейный товарищ». Звучала она едва ли не издевательски.

И то, что Волков, увлекшись, говорил о счастье. Есть счастье развлечений и удовольствий, но развлечения и удовольствия приедаются, да и возможности человека во всем, кроме мысли, ограничены; есть счастье любви, но оно прерогатива молодости; есть счастье родительства, но не каждому выпадает оно и не всегда во власти человека не потерять его; есть счастье творчества, но далеко не всем сопутствует успех и удача. Но есть высшее и общее счастье, есть высшая и общая радость — радость служения общественной идее. Этого счастья хватит каждому на всю жизнь, до самой последней минуты.

И то, что говорил Атоян о любви. Он говорил о героях все той же пьесы — молодых ученых. Они не проносят слов «люблю», «любимая», у них в употреблении слова «я встречаюсь», «я был у нее».. В пьесе это называется — «простые отношения». Задворки любви выдаются за самую любовь... Слово «брак» в устах героев звучит анахронизмом. Правда, в конце пьесы есть диалог: «Может быть, тебе стоит выйти за меня замуж?» — «Что ж, пожалуй...»

— Кто поверит, — восклицал Атоян, — в душевное богатство и духовную красоту таких людей? Кто согласится, что они результат нравственной эволюции человека и общества?

Все, все было примечательно на этом обсуждении.

И то, о чем заговорил Лесько. Кто бы мог подумать, суровый рыцарь дела Кирилл Лесько заговорил о песнях и песенках! Песенки поются все в том же втором спектакле под нашептывание гитары, песенки о «девочке моей», о «заветном свете в ночном окне», слова перемежаются вкрадчивыми «л-ла-ла»... О-о, не такая уж это маловажная вещь, песня! Хозяйкой входит она в сердце и творит там чудо. Она может разбудить дремлющие силы, она может воскресить сломленную веру, она может зажечь новой мечтой, достойной человека. Но если и в театре, и в парке, и на фабричной заставе, и во дворе только песенки о «девочке моей», о «заветном свете в ночном окне»?..

И даже то, что говорил Тучинский. Слушая его, Рябинин подумал: «Эх, если бы в вашем добром сердце, Евгений Николаевич, да сохранилось побольше отваги! Ведь не таким же вы начинали!»!.. А говорил Тучинский о своем детстве. Вспоминал, волнуясь, и воспоминания его

были навеяны премьерой. Он смотрел пьесе только вчера, и им еще владело то захватывающее, возвышающее душу гордое чувство, которое рождается в человеке, когда он соприкасается с чем-то истинно талантливым. Это как праздник... А вспомнилось Тучинскому, как в двадцатых годах в родном своем городе Перми мальчишкой бегал он в день Октябрьского праздника на окраинную площадь города — Разгуляй. Это была поросшая бурьяном, лишь частично мощенная площадь с жалкими строениями небольшого базарчика посередине. Через нее шла дорога, соединявшая Пермь с Мотовилихинским пушечным заводом — знаменитой революционной Мотовилихой, расположенной в нескольких километрах от города. Утром праздничного дня вдали, на повороте дороги, что спускалась к Разгуляю по склону высокой горы, появлялась головная часть колонны мотовилихинских рабочих. Густой строй знамен, неторопливо текущая пламенная лента... А в этот же момент к тому же Разгуляю, но уже через город, двигалась, растянувшись на многие кварталы, другая колонна — колонна пермского завода «Уралсепаратор». Ближе и ближе к Разгуляю стекающая с горы пламенная река, ближе и ближе гром оркестра, ведущего вторую колонну. Вот и в первой колонне грянула медь труб. Два торжественных марша звучат, сближаясь... Вот знаменосцы обоих заводов показываются на площади. Оркестры смолкают. Смолкают и люди. Идут медленно, словно несут что-то такое, что боятся расплескать прежде времени. Простые кепки, воротники косовороток, изредка галстуки; кожаные куртки, суконные полупальто... Лишь несколько метров разделяют колонны, и тогда над площадью взвизгивает возглас: «Рабочим революционной Мотовилихи

ур-р-ра!» И сразу же в ответ: «Пролетариату красного «Уралсепаратора» ур-р-ра!» Дальше уже не слышно ничего, потому что, не помня себя, кричишь вместе со всеми «ур-р-ра», потому что восторженное сердце хочет вырваться из груди... И потом, когда обнялись те, что шли впереди колонн, потом, когда знаменосцы «Уралсепаратора» повернули назад, чтобы рядом с рабочими Мотовилихи, увлекая за собой свою колонну, двинуться в город, к Центральной площади, как здорово потом шагало Женьке Тучинскому и какие жаркие, какие прекрасные мечты и желания кипели в мальчишеской голове!

Вот что вспомнилось вдруг Тучинскому, хотя в спектакле речь велась совсем не о тех далеких днях. Но Рябинин хорошо понял Тучинского. Да, да, он тоже ушел с этого спектакля полный каких-то необыкновенно свежих, молодых чувств, и, кажется, ему тоже грезились картины его юности.

О многом еще говорилось. Но был один ведущий мотив. Рябинин особенно хорошо уяснил его, когда после дискуссии поднялся в свою комнату. «Дерево должно расти, — бросил Волков реплику в разгаре дискуссии. — Если дерево не растет, оно умирает». Да, да, все думали о том, что нам нельзя отступить ни на единый миг и ни в чем. Дерево должно расти. Оно не может не расти.

В сущности, никто не думал о себе. Думали о тех, кто молод, кто только выходит на старт, и тех, кто еще будет.

В комнате было светло, хотя Рябинин не зажигал электричества. Через окно проникал свет фонаря, горевшего на этой стороне улицы, и свет фонарей, которые были видны на той стороне, и весь свет вечернего, спо-

койно шумного города. Была открыта форточка, жизнь города слышалась через нее.

Рябинин замечал и не замечал всего этого. Он думал о дочери. В этот момент все, что было в нем и что было вокруг — и комната, и редакция, и свет вечернего города, и спокойный шум его, — вся жизнь, все было Ниной.

Он надел пальто, всунул ноги в глубокие свои каалоши. Потом неторопливо и рассеянно снял с вешалки кепку и открыл дверь... В конце тихого полутемного коридора стоял Орсанов. Курил, устремив взгляд на низенький подоконник.

Нет, сейчас Рябинин не хотел разговора с ним — представилось, сколь горькую чашу пришлось испить Орсанову сегодня.



Нет, нет, не сейчас.

Но Орсанов сам повернулся к нему.

**У**

Он вынул новую папироску — из той самой коробки, которую исчеркал, когда сидел на дискуссии. Улыбнулся медлительной своей, грустной улыбкой.

— Горе в любви и в искусстве тому, кто говорит все... В данном случае тому, кто пишет все, что думает.

— У вас слабость — цитировать великих.

Орсанов пожал плечами. Зажег спичку, поднес ее к папиросе, и стало видно, как много боли у него в глазах.

Переведя взгляд на окно и помолчав, Рябинин сказал:

— Как-то я сделал открытие. Не бог весть какое, но запомнилось здорово. — Он снова помолчал немного, откашлялся. — Было мне туго. Не стану рассказывать, что

со мной стряслось тогда, важно, что на душе было паршиво. Весь погрузился в свои переживания. С головой. Ничего, кроме моей беды, весь свет божий — моя беда... И вдруг — черт его знает, случается же! — подумалось: а ну погляди на себя со стороны. Постарайся увидеть, что ты есть такое в этом мире.

— Э-э, старо, Алексей Александрович. Я еще в детстве слышал: не мир для тебя, а ты для мира. Так?

— Скажем иначе: не «я и мир», а «мир и я».

— Все равно старо.

— Поверьте, помогает, когда трудно.

— Возможно... Спасибо, что вы молчали сегодня на этом судилище.

— Судилище?!

— Судилище, расправа, фарс — как хотите.

— Послушайте, вы серьезно?

— Алексей Александрович, голубчик, не надо. Волков невзлюбил меня, едва переступил порог редакции.

— А Кирилл? А Леон? А другие?.. Наконец, сами мысли, сама суть дискуссии?.. Фарс?

— Никто не убедит меня, что у того же Волкова этакая... небесной голубизны, непорочная душа. Уверен, что он спит и видит, как бы ему занять кресло Тучинского. Подвижник, борец за общественные идеалы! Знаем, нагляделись.

— На кого?

— Господи, да один Манцев чего стоит! А его компания? А ваш Зубок? А все, что мы знаем о культе? Трусость, ложь, наговор на безвинных... Сын отрекается от отца, жена от мужа... Скопище человеческой низости!

— Знакомые мотивы. У меня уже был по этому поводу разговор с дочерью.

- Вот видите!
- Вижу... Скажите, Орсанов, вы верили в Сталина?
- В Сталина? Нет.
- А я верил. И во всех бедах винил кого угодно, только не его.
- И что же?
- Но ведь я так же, как вы, мог бы сейчас заявить, что уже тогда видел, тогда негодовал...
- И при этом кричали: «Да здравствует великий Сталин!..»
- А вы не кричали?
- Особого усердия не проявлял.
- А я проявлял.
- Тем горше было прозреть.
- Но сдается мне, что тот, кто не верил в Сталина тогда, не верил и в нашу идею.
- Дорогой мой, не слишком ли?
- Пусть слишком.
- Голубчик, вы сами знаете, сколько у нас скверного, подлого, преступного. Я имею право быть недовольным тем, что плохо. Право на борьбу с пороком.
- А разве я не борюсь с пороком?
- Ну и кончим на этом.
- Нет, Орсанов, нет. Во что вы верите?
- В молодость.
- Я тоже. Но чего вы хотите от нее?... Да, я знаю, мы прошли не гладкий путь. Были ошибки, срывы, потери. И сейчас мне порой не до восторгов и умиления. Но я знаю, чего мы хотим. А чего хотите вы? Куда вы хотите звать молодость — ту молодость, в которую верите? Черт побери, ведь у каждого должно быть что-то,

за что он готов под пулю, на костер, на крест! Что же написано на вашем знамени? Оно есть у вас?

— Кто же я, по-вашему?

— А вы не пытались задать этот вопрос себе? Набраться мужества и допросить себя? До конца, до самого дна!.. По-моему, так: либо вера, либо неверие! Либо честный друг, либо честный враг.

— Либо — либо!.. А если честно анализирующий? Честно раздумывающий? Честно сомневающийся в чем-то?

— Сомневающийся?.. Моя комната свободна. Вот она! Целый вечер и целая ночь в нашем распоряжении. Идемте, выкладывайте ваши сомнения!

— Нет уж, увольте. С меня на сегодня хватит.

— Продолжим здесь!..

— Я сказал, с меня на сегодня хватит. Слышите? Я сыт по горло!

— Ладно... Коли на то пошло, ладно. Отложим. Но только отложим, Орсанов.

...Рябинин спускался по лестнице, когда из коридора второго этажа вышли на лестничную площадку Волков, Лесько и Атоян.

— Внучка уморила, — рассказывал Атоян. — Поп — это, говорит, который в цирке выступает. Цирк, церковь — перепутала. Блеск!

— Да-а, такие вещи записывать надо, — заметил Волков. — И публиковать.

Хорошо было присоединиться к ним.

— Что это вы сегодня в колонном отмалчивались, Алексей Александрович? — спросил Волков. — С вашей-то натурой?

— Не в последний раз собрались...



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Орсанов стоял на лестничной площадке. Занятый своими мыслями, он не обратил внимания на человека, медленно и нерешительно поднимающегося по лестнице.

— Где тут сидит товарищ Рябинин?

— Рябинин? — рассеянно переспросил Орсанов. И только после того, как он сам произнес эту фамилию, после того, как услышал звук собственного голоса, назвавшего эту фамилию, он понял, о ком именно спрашивает посетитель, и поражающий смысл происходящего дошел до его сознания. — Рябинин? .. Вам нужно Рябина?

— Да, да, его. А что?

Невольно и бесцельно, просто в силу профессиональной привычки, Орсанов прикинул, кем может быть тот, кто стоял перед ним. . . Скорее всего, приезжий, из какого-то дальнего района области; колхозник или рабочий совхоза. В редакции, конечно, впервые.

Очевидно, он не читал вчерашней газеты. А если и читал, то не всю; четвертую полосу не видел. И очевидно, он не знал Рябинина в лицо, иначе бы ему бросился в глаза портрет, висящий за спиной Орсанова, на стене.

— Я из Киктева, — продолжал посетитель. — Работаю там на элеваторе. Приехал по поручению. . . С просьбой к товарищу Рябину.

«Киктево? — пытался вспомнить Орсанов. — Поселок? Село?»

Приезжий говорил еще что-то, а Орсанов сделал шаг в сторону, — возможно, портрет и написанное под ним были плохо видны. И тогда посетитель перевел взгляд на стену... Текст под портретом был короткий, всего три строчки. Читая их, приезжий шевелил губами.

Потом они — ошеломленный посетитель и Орсанов — какое-то время стояли молча.

— А ведь я специально, с поручением. Аж из Киктева! Что же это, а? ..

Он повернулся к лестнице. Ковровая дорожка, стекающая по ступеням, приглушала его шаги.

— Товарищ! — окликнул посетителя Орсанов. — Расскажите, что у вас! Я Орсанов, спецкор газеты.

Приезжий, задержавшись, растерянно и недоверчиво посмотрел наверх.

— Уж и не знаю... Нам-то он был нужен, мы с ним...

— Расскажите все-таки!

— Уж и не знаю... Посоветуюсь, как теперь. Пойду.

Конечно, он и не подумал, этот приехавший к Рябинину с каким-то делом из какого-то далекого Киктева человек, что сказал сейчас весьма обидные слова. И конечно, он еще вернется в редакцию. Просто его ошеломило случившееся: ехал к Рябинину, настроился говорить с ним, и вдруг это вывешенное на стене, на лестничной площадке, короткое, набранное крупным шрифтом извещение и портрет...

С каким-то листком бумаги в руках вышел из своего кабинета Лесько. Все — и то, как он шел по безлюдному коридору, и то, как он толкнул следующую за его кабинетом дверь, — было хорошо слышно. Редакция, казалось, замерла сегодня. Только в конце кори-

дора, за клеенчатой дверью, глухо и отдаленно стучали пишущие машинки.

— На, подготовь срочно, — сказал Лесько с порога. — Это по статье Алеши. Бюро обкома будет слушать транспортный отдел.

Спешат именно сейчас опубликовать сообщение о мерах, принятых по статье Рябинина. Что ж, это правильно. Да, да, правильно. И хорошо, что сегодня напечатана страница писем читателей, подготовленная им. И хорошо, что в конце страницы сказано, что именно Рябинин подготовил ее. Ничего, что такие подробности обычно не сообщаются. Сейчас нужно.

«Да, да, нужно», — повторил Орсанов, волнуясь и находя в этом своем волнении размягчающее душу удовлетворение собой. Сделалось горячо глазам.

Настенные часы показывали четверть третьего. В три надо быть там, в клубе журналистов. Назначено на три... Идти еще рано. Сейчас там, наверное, мало народу, и можно столкнуться с Ниной. Лучше прийти около трех. Народу соберется достаточно: газетчики, типография... Но нельзя, чтобы Нина совсем не видела его. Она должна знать, что он пришел.

С верхнего этажа сбежал толстяк Неживой, фотограф. Бросил:

— Здравóво!

Помчался дальше.

Орсанов спустился в вестибюль. Прошел было мимо двери в колонный, но затем вернулся: пожалуй, там, в колонном, лучше всего пересидеть оставшиеся тридцать — сорок минут.

Он сел на допотопный кожаный диван, стоящий у задней стены комнаты. Впереди, за несколькими ря-

дами стульев, зеленело сукно несуразно большого стола. Полузашторенное окно роняло на стол свет тусклого осеннего дня.

Здесь неделю назад состоялось обсуждение рецензии. Да, ровно неделю назад. Памятная неделя! И в эту же неделю — письмо Нины.

Он приложил ладони к лицу, потер горячий лоб и глаза. Нина увиделась ему... Это было вот так, вот так — бледное лицо Нины, ее сияющие темной глубиной глаза — близко, совсем близко; а потом уже нет ни этого лица, ни этих глаз, — есть вся она, дрожащая решимостью, сделавшая стремительное движение к нему, вся она, юная, отчаянная, порывисто-смелая. И первая, да, да, первая, потому что никогда, никогда еще он не испытывал такой всепоглощающей радости... .

Он вынул письмо. Угловатый, твердый почерк. Буквы остроконечные, крупные... Центральный почтамт, до востребования, Валентину Валентиновичу Орсанову.

Все за одну неделю.

Обсуждение рецензии, этот столь гениально удавшийся спектакль состоялся в пятницу. Да, в пятницу, ровно неделю назад. И тогда же, вечером, Рябинин. Надо же было встретиться именно с Рябининым. Ну бог с ним! Зато была на свете Нина. Они увиделись в субботу днем. Он говорил, говорил, говорил... Нина слушала его, как никогда, тихо.

А дальше было то воскресное утро.

Они с женой спали порознь, но в то утро она пришла к нему.

Потом он рассказал о рецензии, о собрании в колонном и постепенно разворошил свои горести и боли.

— Уеду! Пусть хватаются. Пусть попляшут.

Жена мгновенно переменялась. Другое лицо. Столь же вызывающе красивое, но совсем другое. Словно произошла смена масок.

— Послушай, милый мой пилигрим, не хватит ли? Чего ты ищешь? Ты что, хочешь, чтоб тебя возили по городу в карете, увитой цветами, а женщины дрались за право впрягаться в оглобли? Ты что, модный тенор или киноактер?

Она прошла к окну, босая, в длинной белой рубашке. Закурила.

— Ты знаешь, наши отношения я считаю идеальными: я ни в чем не связываю тебя, ты не связываешь меня. Но это совсем не значит, что ты мне безразличен. Тебе уже не двадцать, не тридцать. Почти сорок! Ты не переставая твердишь, что пора засесть за роман, что он у тебя весь продуман, весь в голове, завтра же надо начать. Сколько еще будет этих завтра? Где они, твои тома, твои эпопеи?

Она была права, конечно. Но оставаться с Волковым!

Зазвонил телефон. Он был за стенкой, в кабинете. Лариса всунула ноги в туфли и вышла.

Орсанов слышал, как она ответила кому-то:

— Сейчас.

Вернувшись, сказала:

— Тебя.

Никогда прежде Нина не звонила ему домой. Она сказала, что ждет его в сквере напротив его дома.

.. Она встала навстречу ему со скамейки.

— Что случилось, Нина?

На бледных висках ее просвечивали прожилки. И рот, совсем детский, с пушком, серебрящимся возле губ, и вздрагивающий, был бескровен. . .

— Я все обдумала. Если вы решите уехать, я уеду с вами, если решите не ехать, я все равно. . .

— Как? То есть как, Нина?

— Я решила. Я все обдумала и решила. Вы не ждали, да?

Он понял ее.

— Вы не ждали, да? Я все обдумала и пришла, видите? Я все обдумала и решила: теперь я стану вашей женой. Я пришла, видите?

Наверное, никогда еще в его голове за одно мгновение не проносилось столько мыслей, столько лиц, столько каких-то картин: жена и все сегодняшнее утро; Рябинин, что-то жестоко выговаривающий ему; Волков, Тучинский, заведующий сектором печати обкома партии и какое-то объяснение с ними; какой-то казенный зал, в котором ему, Орсанову, тоже приходится объяснять что-то. . .

— Сядемте, Нина!

Она посмотрела на скамейку, но не села. Казалось, она не поняла его.

— Как вы сразу, Нина!

— Вы любите меня?

— Как вы сразу. . . Есть тысячи обстоятельств.

— Вы любите меня?

— Это — безумие, Нина!

Она насторожилась:

— Что? Что безумие?

— Вы не поняли, я не о том.

— Идемте к вам, и вы все скажете вашей жене. Вы не любите ее и все скажете ей.

Орсанов опустил на скамью.

— Сядьте, Нина! . . Да сядьте же!

Она вздрогнула.

— Простите, Нина! Простите!.. И все-таки нельзя так сразу, есть тысячи обстоятельств.

— Вы любите меня?

— Нина, но я же сказал, я, кажется, уже ясно сказал.

— Что? Что ясно?

— Я не о том. Вы опять не поняли.

— Вы любите меня? — На лице ее проступили алые пятна, и воспаленно-алыми сделались губы.

— Боже мой, как вы не поймете, Нина!

Она коротко глянула на него и, вся сжавшись, потупилась.

— Нина, нужна какая-то подготовка... Какое-то время... .

Более всего Орсанов хотел в этот миг, чтобы Нина подняла взгляд. Он хотел этого как помощи от нее.

И Нина подняла взгляд. Она посмотрела прямо в его глаза — не изумленно, не испытующе и даже не потрясенно, а как-то вдруг почти спокойно — и, круто повернувшись, пошла от него по скверу.

Вечером он не находил себе места. Клял себя за то, что не догнал тогда Нину, не продолжил объяснение; он поражался тогдашней своей слабости, своему замешательству — откуда они?! Почему он лепетал черт знает что, вместо того чтобы искать выход? Спокойно искать выход!

Но главное было не в этом острейшем недовольстве собой — Орсанов просто не мог без Нины.

Он знал в себе одну особенность; вернее, не знал, а скорее догадывался, что она есть: когда он страдал, то всегда получалось так, что он хотя бы чуточку, но

словно бы поглядывал на себя со стороны, словно бы прикидывал, достаточно ли он страдает. В этот вечер он забыл о себе, в нем не было и крупницы самолюбования, наслаждения своим страданием.

Ему удалось увидеть Нину на другой день, в университете; Орсанов выяснил, в какой аудитории будут у нее последние занятия, и подождал возле этой аудитории. Но едва они вышли из университета, Нина сказала:

— Не провожайте меня. Я напишу вам на центральный почтамт.

Это было в понедельник. Уже в тот день вечером Орсанов заходил на почтамт. Во вторник он наведлся туда трижды, но получил письмо только в среду вечером. Очевидно, Нина написала письмо в среду же утром. И в ту же среду, в тот же вечер, когда Орсанов читал письмо Нины, не стало ее отца. Орсанов узнал об этом в полночь — позвонили из редакции.

Сегодня пятница. Какая невероятная неделя!

Он вынул из конверта письмо, помятое, читанное-перечитанное.

«Валентин Валентинович!

Я пишу только потому, что обещала написать.

Во всем том разгроме, который царит сейчас у меня в душе, есть лишь одна ясность: видеться нам больше не надо. Незачем. Пока я достаточно хорошо чувствую это, а осмыслить как следует все, что произошло, мне еще предстоит.

С папой Вы, конечно, будете встречаться. Это неизбежно, я понимаю. Тем более что после дискуссии о Вашей рецензии между вами был разговор, который, конечно, будет продолжен, уж я-то знаю папин характер. Не подумайте, пожалуйста, что папа рассказал мне



все, просто я случайно слышала разговор с мамой. И то, что я знала о вашем споре, тоже сыграло, как я вижу теперь, свою роль. Сумасшедшая, угорелая девчонка, которая в воскресенье пришла к Вам, еще в субботу подумала, что сделает это. Никогда в жизни никого ей не было так жалко, ни за кого не было так больно. Она готова была на все: уйти из дому, бросить университет, уехать с Вами. На все. В воскресенье Вы убедились. Она мечтала, как посвятит только Вам свою жизнь, в этом усматривала свою высочайшую миссию. И между прочим, мечтала, как сумеет каким-то образом доказать всем в редакции и своему отцу, что Вы во всем правы, а отец и все они неправы.

Я знаю, на душе сейчас у Вас скверно. Я сознаю, зачем Вы приходили в университет. Но случившегося в воскресенье не вычеркнешь.

Так вот, с папой Вы неизбежно будете видеться и разговаривать, и, я думаю, Вы не попытаетесь использовать ваши встречи, чтобы что-то поправить. Сознаю, что пишу дикие вещи. Просто невероятно допустить мысль, что Вы позволите себе это, тем более в разговоре с таким человеком, как мой папа. И все же я решилась предупредить.

Что и говорить, хороший урок я получила. Ладно, что мое, то мое.

На это письмо отвечать не надо. Я сдержала слово, написала, и все».

Орсанов во второй раз пробежал глазами последнюю строку: «...написала, и все»... И не Нина, а ее отец сначала вдруг представился ему — жестокий, злой, неистово упрямый, а уж потом она, Нина.

Его охватило жаром: не может быть! Все поправимо.

Не сейчас, конечно, не сейчас, но поправимо! Поправимо!

В колонный заглянул вахтер.

— Извините, думал, никого... хотел запереть.

Запереть... Орсанов рассеянно посмотрел на осторожно закрытую вахтером дверь. Запереть... есть такое слово в литературном языке? Конечно, есть. Или нет?.. Запереть, запереть... Есть или нет, есть или нет?..

Он провел ужасную ночь, и, наверное, это сказывается. Нет, скорее наоборот: все сказалось в эту ночь. С вечера постелил себе в кабинете, на диване. Снилось, что его окружили какие-то темные личности. Хотели ограбить, убить, он побежал и очутился в незнакомой, чужой квартире. И тогда появился отец, а с ним люди в ватниках, какие дают заключенным. Но оказалось, что эти люди из милиции, они пошли с ним, ограждая его, но и преследователи были где-то тут, и страх его не ослабевал, а нарастал. Навстречу выбежала собачонка, маленькая, жалкая, невероятно худая, и вся, как в вате, в инее. Он очутился опять один, на вершине тонкой сосны, которая становилась все длиннее и длиннее. И круча, на которой стояла сосна, делалась все выше и выше, а внизу, на дне пропасти, все бежала собачонка. Сосна стала сгибаться над пропастью, повисла над ней; Орсанов проснулся. Дрожь долго еще не унималась в нем, и долго еще бешено стучало сердце... Он подумал, что давно, очень давно не видел отца во сне. А может быть, отец вообще прежде ни разу не снился ему. Вспомнился разговор с ним на вокзале. Никогда они не были близки; Орсанов и не знал толком отца, но он все-таки был; после встречи на вокзале осталось такое чувство, что отец ушел навсегда... Мама, конечно, на-

пишет. В сущности, только она одна и есть у него... Потом он забылся в тяжелой дреме, и, когда снова очнулся, наступило самое невыносимое. Он ощутил в себе, именно ощутил в себе невероятную тоску: она не пришла со стороны, не навалилась на него, а была в нем и напоминала пустоту — легкую, ничего не весящую, но давящую, разрывающую сердце на части. Ему стало страшно, захотелось броситься в соседнюю комнату, разбудить жену... Он сумел побороть этот страх, но уснуть уже больше не смог.

...Пора было идти туда, в клуб. Это недалеко: полквартила от редакции до угла и еще полквартила налево. Старинный одноэтажный особняк на сравнительно тихой для центра улице. Было ветрено. Сквозь облака расплывшимся бесформенным пятном проглядывало солнце.

Орсанов дошел до угла, повернул... По обеим сторонам улицы и на мостовой группами стояли люди; посредине квартала они запрудили улицу сплошной толпой. «С чего это? — рассеянно подумал Орсанов. — Случилось что-нибудь?» И, лишь привычно глянув на маленькое среди многоэтажных домов здание клуба, он понял.

«Как Жореса какого-нибудь...» Ему сделалось не по себе от своих же слов, и он ускорил шаги, как будто хотел уйти от кого-то.

Переходя улицу, заметил впереди троих в железно-дорожных шинелях, спешивших к клубу. Высокая, статная девушка несла цветы. Орсанов не знал ее. Зато он узнал пожилого, твердо, хотя и с легкой хромотой шагающего, низенького крепыша: Ногин. Узнал не сразу, потому что прежде видел его в больнице, в халате,

с забинтованной головой. Третий был в очках, неуклюжий, плечистый. Орсанов догадался: Федотов.

...Он не сразу вошел в зал. Задержался в заполненной молчаливой гостиной. Поздоровался со знакомыми.

Гостиную соединяли с залом две двери. Прерывистая цепочка людей втекала в одну дверь и вытекала из другой.

В гостиной, между дверьми, висел на стене портрет — такой же, как и на лестничной площадке в редакции.

В клуб перестали впускать. Струйка людей, втекавшая в зал, оборвалась. На какое-то время у двери — и со стороны гостиной и со стороны зала — образовалась пустота; каждый появившийся в ней мог быть хорошо замечен. Подготовив нужное выражение лица, в меру наклонив голову, в меру ссутулившись, Орсанов направился к двери.

**Ханжин Владимир Васильевич**

**ДО ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКИ**

М., «Советский писатель», 1966, 224 стр.  
Тем. план выпуска 1966 г. № 90

Редактор Г. А. Блистанова  
Художник А. Л. Шульц  
Худож. редактор Е. И. Балашева  
Техн. редактор А. И. Мордовина  
Корректор Ф. А. Рыскина

Сдано в набор 13/VI 1966 г. Подписано к печати  
26/IX 1966 г. А 16189. Бумага 70X108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Тираж 30 000  
экз. Заказ № 1007. Текст отпечатан на бум. тип. № 1.  
Печ. л. 7,0 (9,80). Уч.-изд. л 9,46. Цена 42 коп.

Издательство «Советский писатель»,  
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров СССР  
Красная ул., 1/3

42 коп.



**СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • МОСКВА**

**1966**